

ВРЕМЯ *И* **МЕСТО**

Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выпуск 4 (36)

Нью-Йорк, 2015

ВРЕМЯ и МЕСТО

***Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал***

VREMYA I MESTO

***International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary***

Copyright © 2015 Vremya i Mesto

Produced by *Shikhman Publishing*

Artwork on front cover by Herman Gold

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from the journal, please call 718-815-5000 or send an email to olga@flockusa.com

www.vmzhurnal.com

All rights reserved

ISBN:

Printed in the United States of America

**Игорь Шихман, издатель и
главный редактор (США)**

Редакционная коллегия:

Давид Гай – зам. главного редактора (США)

Ирина Басова (Франция)

Марк Вейцман (Израиль)

Руслан Галазов (Испания)

Нина Генн (США)

Геннадий Кацов (США)

Надежда Кожевникова (США)

Давид Маркиш (Израиль)

Владимир Некляев (Беларусь)

Андрей Остальский (Англия)

Александр Половец (США)

Георгий Пряхин (Россия)

Семен Резник (США)

Михаил Румер-Зараев (Германия)

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ..... 6

ПРОЗА

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Сказка о мертвой музыке
(окончание).....9

ДАВИД ГАЙ

Исчезновение89.

БОРИС САНДЛЕР

Маленький
секрет.....123

АЛЕКСАНДР ПОЛОВЕЦ

Анна Семеновна.....229

ПОЭЗИЯ

ГАЛИНА КЛИМОВА.....78

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР.....83.

ЛАРИСА ИЦКОВИЧ..... 140

ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ..... 199

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ИГОРЬ ШИХМАН

Назначен в герои.....143

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОМАН СОЛОДОВ

Вторая поправка. Проклятье Америки.....181

НАУКА И РЕЛИГИЯ

МАРК ГИНЗБУРГ

С какой целью?.....207

ЮБИЛЕИ

АЛЕКСАНДР ГРИЧ

Создатель “Панорамы” 221

БЫЛОЕ

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

“Приключение” с “молчанием”.....246

**САРКАСТИЧЕСКИ-ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА И
ПОЭЗИЯ**

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

В мире четырех Наташ..... 259

АВТОР ОБЛОЖКИ

Особое состояние

души..... 266

К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья! Мне, издателю и главному редактору журнала «Время и место», доставляет большое удовольствие получать от вас письма. Причем независимо от их тональности. Признаюсь, что критические отклики (это не относится к ругательным и злопыхательным, впрочем, таких по сути и нет) читаю с особым вниманием и интересом. Они нередко подсказывают темы будущих выступлений. Ведь именно ваши письма, ваше мнение в определенной степени определяют вектор работы редакционного коллектива, формируют содержание последующих выпусков. Я не открываю Америки, это – закономерность. Ведь связка издание – читатель есть улица с двухсторонним движением.

Было очень приятно получить недавно письмо от Валерия Савинкина, президента Одесского землячества Нью-Йорка. Мои земляки-одесситы живо откликнулись на опубликованные в прошлом 3(35) выпуске «Времени и места» обращение к читателям и статью Исаака Вайншельбойма о незаслуженно забытом поэте и писателе Семене Фруге, чье творчество было неразрывно связано с Одессой.

«Сотрудничество вашего журнала и нашего землячества могло бы послужить реализации ваших инициатив», – пишет господин Савинкин.

Далее он предлагает план совместных действий. Предложения конкретные и разумные. Землячество за годы существования накопило опыт по проведению различных акций по сохранению культурного наследия родного города и увековечению памяти знаменитых граждан Одессы. В частности, находясь за тысячами километров, члены землячества приняли активное участие в создании памятника Исааку Бабелю.

По тону письма чувствуется, что в этом землячестве собрались чуткие и отзывчивые люди, готовые

откликнуться на разумное начинание, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Мне импонируют такие неравнодушные люди.

На своем жизненном пути встречал немало таких личностей. Считаю этот факт своей удачей. Именно к такой категории я отношу члена редколлегии нашего журнала Александра Половца. Человека, внесшего неоценимый вклад в сохранение русской культуры в среде американской диаспоры. До эмиграции он жил в Москве и дружил со многими поэтами, писателями и актерами. Обосновавшись в Америке, Александр стал приглашать своих друзей в США и устраивать их встречи с русскими эмигрантами. Сегодня по-прежнему двери его открыты для гостей из России.

Мне не посчастливилось свести дружбу с ним в Москве. Наши дороги пересеклись в Америке. Он поддержал меня морально в тот момент, когда я открывал для себя эту страну и искал свое место в новой жизни. Александр Половец начал публиковать мои материалы в созданном им еженедельнике «Панорама». Эту газету я считаю одним из лучших русскоязычных изданий Зарубежья. В моих словах нет ни капли лести. Полагаю, со мной многие согласятся.

Я не случайно вспомнил о Половце в этом обращении. Александр отмечает 80-летие. Я долго подбирал нужные эпитеты, чтобы как-то торжественно обозначить эту дату в его жизни, но ничего подходящего не нашел. Потому как традиционные определения этого возраста не подходят Саше. Он энергичен, полон сил, пишет так, что молодые могут позавидовать. В этом вы убедитесь сами, прочитав в нынешнем выпуске его рассказ – трогательную жизненную историю. Не пройдите и мимо очерка Александра Грича о жизни и судьбе Половца – то также в этом номере журнала.

От всей души поздравляю юбиляра и желаю не ему, а себе еще много лет печатать этого автора. Рад нашей крепнущей дружбе...

К слову, о долголетию. У вас в руках последний выпуск девятого года существования нашего издания. Следующий год для нас десятый, юбилейный. Стаж солидный для любого современного литературного издания, тем более существующего в эмиграции и обходящегося без какой-либо спонсорской помощи. Мы постараемся не обмануть ваших ожиданий и делать каждый последующий выпуск интересным, отвечающим высокому качеству прозы, поэзии, публицистики, чтобы каждый читатель мог найти в нем что-то для ума и души.

Напомню подписчикам наш адрес:

SHIKHMAN PUBLISHING

1864 Clove Rd. Staten Island, NY 10304

Контактный телефон: 718 - 815-5000

E-mail:

olga@flockusa.com

guydmf@yahoo.com

Подписка на 2016 год уже идет полным ходом. Условия прежние – \$50 на год, включая почтовые расходы на доставку номеров. Надеюсь, вы, друзья, останетесь с нами. Хочется верить, что мы приобретем и новых читателей.

P.S. Добавлю, что номера журнала за последние два года можно увидеть в электронном виде на популярном российском интернет-портале “**Читальный зал**”.

Игорь ШИХМАН,
издатель и главный редактор

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

СКАЗКА О МЕРТВОЙ МУЗЫКЕ

Окончание. Начало в №3 (35)

Что же произошло дальше, спросите вы, как жил я, верил ли тому, что случилось со мной. Верил, да, но вообще не хотел искать объяснений. Мало того, как только начинал вспоминать и анализировать, разыгрывались жуткие мигрени и даже случался нервический понос. Я прекрасно понимал, что странная эта история сильно подействовала на меня, как-то изменила мое нутро, образ моих мыслей. Но дальше начинались противоречия; я совершенно не хотел меняться, облик моей персоны вполне устраивал меня, да и побаивался я перемен, – от добра добро не ищут, полагал. Поэтому после недолгих колебаний я решил навести внеочередной визит уже упомянутому мной профессору Кутузову-Данцевичу, чтобы осторожно выяснить у того, имеются ли какие-нибудь опасения насчёт моего душевного здоровья, и что следует делать в случае возникновения мучительных и плохо объяснимых противоречий.

Данцевич жил поблизости от меня, на Смоленке, в хорошем доме с консьержкой и охраной. Он был весьма успешен, мой приятель-психиатр. Встретил меня с некоторым удивлением, ибо визита так скоро не ожидал.

– А что ты, Борис, собственно говоря, вернулся так быстро? Почему не выполняешь мои рекомендации? – вполне серьёзно спросил он. – Если так станет продолжаться, боюсь, тебе придётся искать другого доктора. Тебе подойдёт какой-нибудь хулиган-психоаналитик, который станет морочить тебе мозги. За бешеные деньги.

– Не испугал, – устало ответил я, усаживаясь в кресло. – Тебе, Данцевич, предписано идти по жизни рука об руку со мной. А будешь разбрасываться пациентами-

интеллектуалами, которые, к тому же, не надоедливы и любят коньяк, – останутся одни наши голубоватые чудики-наркоманы, будут у тебя тут по ковру ящериц ловить и отрывки из древнеиндийских трактатов наизусть читать. Заскучаешь.

Данцевич легко согласился, кинул на меня быстрый взгляд и направился к бару. Я понял, что жизнь приходит к норме.

Однако Данцевич хоть и поставил на стол бутылку и пузатые бокалы, всё же наотрез отказался наливать, пока я не расскажу, зачем пришёл. Я попытался доказать ему, что мой рассказ расцветится необыкновенными красками, если сначала пригубить, но доктор остался неумолим.

Я глубоко вздохнул и начал говорить. Данцевич не перебивал.

Внимательно выслушал мой подробный рассказ, посоветовал поменьше работать и на некоторое время закрыть все проекты, хоть как-то связанные с музыкой. – “Видишь ли, Борис”, – весомо, по-докторски проговорил он, – “Музыка вызывает слишком много эмоций, часто совершенно неадекватных и полярных даже у одного и того же индивида. Вероятно потому, что действует, минуя осознаваемое. Живопись и литература более объяснимы, их воздействие наглядно. А это – как раз то, что тебе нужно сейчас. Вот и делай пока выставки и читай книжки”. Я подумал, что похожее рассуждение уже где-то слышал, очень знакомым показалась. Но промолчал. А на мой робкий вопрос – а что же всё-таки со мной такое произошло, профессор ответил так: ”Ты, Борис, натура тонкая, живешь на нерве, на всплеске, как все музыканты. Видимо, твое подсознание переполнилось и выбросило в качестве самозащиты избыточные впечатления наружу. Барышня была, сказка про мёртвую музыку тоже, а остальное ты накрутил вокруг этого”.

– Что же, со мной случилась галлюцинация?

– Скорее, иллюзия. Так бывает у совершенно здоровых людей определенного склада, только девяносто девять из ста ничего не помнят. Ну, как не помнят сны. Я пропишу тебе курс физиотерапии и двухнедельный отдых в твоей Лиексе. Только уж ты доберись до неё.

Меня ответ совершенно не удовлетворил, но бутылку коньяка мы всё же уговорили, открыли вторую, в итоге на следующее утро беготня по психиатрам, пусть они и хорошие приятели, казалась мне такой же глупостью, как и история с Аmandой. Но всё это находилось сверху. Внутри застряло чёткое понимание, что Аманда существовала, я всеми силами старался игнорировать это, и у меня пока получалось. После безобразной пьянки с Данцевичем у меня начисто пропало желание думать об Аманде. Вероятно в коньяк, которым угощают психиатры, подмешаны успокоительные или в кабинетах у них плавают некие флюиды, от которых наступает облегчение. Некоторое время у меня более не появлялся интерес задумываться о том, куда подевалась Аманда из музейного сада, почему я оставил на могиле маэстро её скрипку, чья же всё-таки музыка звучала и откуда. Я и не задумывался, тем более что как женщина она мне, бабнику со стажем, не приглянулась совсем. Если б приглянулась, всё, возможно, было бы по-другому. Вот только... Вот только бумажка с номером телефона; я понимал, что когда-нибудь позвоню по этому номеру, могу убеждать себя в чём угодно и годами не заморачиваться, но звонка избежать не выйдет. Хоть на смертном одре через много лет, но звонить придётся, потому что человеческая суть скверно относится к неразгаданным тайнам, – они тянутся, словно хвост, и редко отваливаются как у ящериц. Они – всегда соблазн. Но в тот мой жизненный период я и не думал о том, чтобы позвонить. Не хотел и боялся. Да, наверное и боялся, потому что представить не мог, кто мне ответит и ответят ли. Но отучил себя раздумывать об этом, да не очень-то и хотелось.

Жизнь тем временем продолжалась, как тому и следует быть. Или это я продолжался сквозь неё, – неизвестно. Но рекомендациям Данцевича уже в который раз не внял. Остатки лета и осень пролетели одной минутой, зима прошла чередой пустых, но занятных событий, всегда до краёв наполнявших мою жизнь. На Рублёвке в рекордные сроки отстроили очень приличный концертный зал, куда меня звали репертуарным директором, предложив невероятную зарплату и процент с прибыли. Я сопротивлялся, сколько хватало сил, поскольку не терпел, чтобы у меня имелось хоть какое начальство. Но работа казалась не пыльной, много времени не занимала, и я согласился.

Владелец, естественно, плохо понимал, что ему следует делать с новостройкой. Поэтому свалил всё на вновь назначенного управляющего. Ну а управлять залом поставили немолодого отставника, – в прошлом весьма карьерного полковника Пятого Управления КГБ, ну было так принято на Рублёвке, что поделаться; действующим спецслужбам не очень верили, а вот бывших ГБшников, пусть и не юных, отрывали с руками. Этот по Жванецкому “товарисч”, оказавшийся весьма забавным, и стал моим непосредственным начальником. На первом, так сказать свидании, он целый час мучил меня разъяснением диспозиции, хотя его многословные ценные указания сводились только лишь к одной фразе: “превратить объект культуры”, – как он дословно выразился, – “в центр изящных искусств рублёвского регионального подразделения”. Бывшей борец с инакомыслием благоволил к советской эстраде; у него выступали Кобзон, Пугачева, Леонтьев, а кроме того, – найденные на разных помойках и прозябающие в полной нищете звёзды времён позднего социализма. Но, потакая вкусам публики, полковник находил в себе силы наступать на горло собственной конторской песне и приглашал заплесневелых

и некрасиво постаревших звёзд с Запада. Там их давно и не знать не знали, а наши рублёвские нувориши возраста шестого десятка рыдали в голос, размазывали слёзы по дряблым щекам и пот по блестящим лысынам, вспоминая юность и пьянки в кухнях малогабаритных квартир, магнитофоны с большими круглыми бобинами и своё отвращение к режиму, мешавшему слушать музыку, казавшуюся настоящей. Никто не думал, что как раз мой начальник, а ныне директор шикарного зала, который они посещали, платя бешеные деньги за билеты, и мешал. Ах, эти запутанности и несурезицы нашего сложного времени... Сколько приятных и не очень, а главное удивительных сюрпризов, они принесли людям.

Однако превращение рублёвского зала в центр регионального... ну и так далее, я оставил на потом. Придумывая разные уважительные причины, временно плюнул на исполнение прямых обязанностей, за которое получал немалые деньги, и, как обычно, занялся тем, к чему лежала душа. Устраивал вечера классической музыки в изумительно уютном и при этом очень просторном пиано-баре новенькой барвихинской гостиницы. Гостиницу тоже отстроили только что. За дизайн-проект бара, задуманного, скорее, не как бар, а как небольшой зал для приятных встреч симпатичных друг другу людей, одному шведскому специалисту (запомнил его фамилию) отвалили полтора миллиона долларов. Там собиралась совсем другая публика. Она приносила не так, чтобы много денег, но здорово заряжала меня положительной энергией. Согласитесь, что среди людей, которых страна выплонула в рублёвский оазис и забыла, приятно видеть хоть и немногих, но способных до конца дослушать вокальный цикл Бернштейна или мотет Брукнера, а потом долго аплодировать. Я очень увлёкся подбором качественных исполнителей и репертуара, совершенно забросив всё остальное, даже галерею. Начальнику я твердил, что занимаюсь разработкой

концепции концертной политики, он уважительно кивал головой и смиренно просил форсировать, упирая на то, что моя генеральская, как он утверждал, должность, даёт мне для этого все возможности. Видимо, ему шепнули, что читать мне нотации, а тем более, повышать голос – бессмысленно, а сам он разбирался в людях, – комитетская школа давала о себе знать, кто бы что ни говорил.

Но в один прекрасный день моя спокойная жизнь закончилась. Её окончание ознаменовалось звонком моего старого приятеля Паши Лобова. Мы давно не созванивались, – я, признаться, удивился, хотя звонку и обрадовался. Паша был удивительной личностью. Самый молодой доцент Консерватории по кафедре композиции, он находился в вечном движении, а поскольку человек не может не спать, он спал на официальных мероприятиях, рефлекторно и всегда очень точно кивая, когда докладчик касался особенно важных мест. Я сам видел, и это меня поразило – подумал, что хорошо бы научиться вот так же, – дело полезное. Паша успевал всё и даже более того. Преподавал, писал музыку, курировал молодые дарования, давал концерты в России и в Европе. Был в меру циничен, в меру романтичен и тоже расплескивал идеи, что мне очень импонировало. Он, как положено приличному человеку позвонив заранее, и привёл мне этого угрюмого мальчишку лет четырнадцати. Сказал, что паренёк учится в средненькой музыкалке, а он, Паша, услышал его случайно, на каком-то отчётном концерте. Увидел что-то в мальчишке. – ”Ты мой нюх знаешь” – значительно произнёс Паша и для пущей значительности поднял вверх палец. Стал лично давать одарённому подростку бесплатные уроки, потому что родители небогаты и совершенно не подозревают, что в их простой семье сладким для всех соком наливаются гений. Паша любил это слово и употреблял его и к месту, и просто так.

– Что же играет твой гений? – скорее из вежливости поинтересовался я, представив себе коротко стриженного

гидроцефального подростка, может даже и прыщавого. Я понимал, что он навряд ли вызовет восторг у рублёвских сливок, всегда желающих слышать и видеть то, чего никто доселе не видел и не слышал. А молодых дарований нынче развелось столько, что будь он хоть сам Паганини в отроческом возрасте, успеха не случится.

– Он не играет по заказу, – притворно зевнув, ответил Паша. – Он импровизирует. На темы и без тем. Ты вряд ли слышал такое. В музыкалке он хорошист, звёзд с неба не хватает, тамошние климатерические преподавательницы ужаснулись бы его импровизациям, настолько они вне канонов. Но он для них не импровизирует, только разучивает что надо по программе. Его требовалось расшевелить, что мне и удалось, – Паша аж весь засветился от гордости. – Ты только подумай, – мальчонка читал Штокхаузена****, знаком со свободной импровизацией. Представляешь, расспрашивал меня об интуитивной музыке. Я хоть в бытность студентом одно время и увлекался открытой композицией, но не настолько, чтобы достойно удовлетворить его интерес.

Я понял, что если соглашусь, мальчишке придётся нелегко, – кому ж неизвестно, что в России за уплаченный грош дерут на пять рублей. Подумал, что и сам могу заполучить неприятности – бог с ними, с деньгами, но репутация... Впрочем, можно было свалить на начальство, что полковнику сделается, – в конце концов, отбrehиваться у вышестоящих – важная часть его служебных обязанностей. Да и Паше я отказать не мог ни в коем случае, это соображение по ряду причин было важнее всего.

– Ну, давай послушаю твоего гения, – я вздохнул. – Вечно идеи у тебя какие-то... не цивилизные.

– Ну, цивилизные или нет, только я ни разу не ошибался.

– Я тоже, иначе не сидел бы тут, а был солистом Пермской областной Филармонии.

– Артистом, – поправил меня Паша.

Я задохнулся от возмущения его наглостью, но ответить ничего не успел, потому что Паша высунул голову в приёмную и позвал мальчишку. Выглядел паренёк и на самом деле не слишком презентабельно, серенько так; тонкие руки, длинная шея и на самом деле очень большая голова. Глаза, однако, большие и вдумчивые.

Я поздоровался, задал дежурные вопросы и попросил изобразить что-нибудь для главного дяди, который, быть может, организует ему концерт. Мальчик посмотрел на меня как-то странно, будто бы не понял, что ему было сказано, но промолчал. Достал из футляра новенькую дешёвую скрипку, встал посередине кабинета, вполне серьёзно поклонился нам с Пашей и заиграл. И вот... Тут-то и прозвучал сигнал, нет, напоминание, да чего уж там, – предупреждение, что всё, даже самое эфемерное, мелькнувшее в жизни пусть и легчайшей тенью, почти нечувствительным прикосновением, как правило, подвластно универсальному правилу бумеранга. Оно непременно когда-нибудь или возвращается, пусть в обличье неузнаваемом, или имеет последствия, причём мы часто никаким образом не связываем постигшие нас несчастья или, наоборот, случайные радости с этими событиями. А я, слушая игру пацана, постепенно понимал, что судьба моя – взбираться на следующее кольцо и бежать по нему, ничего не понимая и не отдавая себе отчета в том, правильно ли я поступаю. Потому как попал во власть тех самых созвучий, о которых говорила Аманда. Уж не знаю каких, – нерожденных, мертвых, существующих рядом или параллельно, живущих в умерших сознаниях, – мне ли разобраться в этом! Парнишка играл, а я слушал, слушал то, что уже слышал летом, полтора года назад, ошибки быть не могло. Да, именно эту пьесу, мучительно похожую на скрипичную пьесу Чайковского уже играла, дабы что-то доказать мне девушка со жгучими глазами и странными фантазиями. Тогда мне удалось справиться с собой, сохранить свое “я”,

а теперь... Теперь впереди была только неизвестность, я понимал, что укротить себя во второй раз будет значительно труднее. Или передо мной была Аманда в облике неухоженного, ломающего стереотипы мальчишки, который тоже ничего не знал о своем будущем? Или красивая скрипичная композиция пригрезилась мне во второй раз, уже дома, но этого не могло случиться, я понимал. – “Боже, что теперь будет?” – подумал я. – “Ведь всё летит к чертям собачьим, это факт. Как мне жить дальше?”

– Когда ты это сочинил? – стараясь говорить спокойно, спросил я.

Мальчонка с удивлением посмотрел на меня. – “Я не сочиняю”, – ответил он. – “Я совсем слаб в композиции. Павел Васильевич учит меня, как надо писать музыку, но у меня получается плохо. Я играю то, что слышу”.

– Где слышишь?

– Не знаю. Наверное, везде.

– И никогда не записываешь? – подозрительно спросил я.

– Не умею пока, – по-взрослому вздохнул мальчишка. – Но я научусь. Павел Васильевич говорит, что у меня есть способности.

Теперь уже вздохнул я. Что оставалось делать? Я ощущал страх и понимал, – надо спрятаться, самому призраком стать, что ли, ведь неизвестная сила, которой я ненароком коснулся, никому не мешая и спокойно делая свои незатейливые дела, не оставит меня. Но подавил в себе страх и решил попробовать ещё раз сделать вид, что ничего особенного не происходит. Я устроил мальчишке концерт, успеха он не имел. Потом Паша сказал мне, что родители возили сынишку в Питер, добились, чтобы его послушал маэстро Андрей Петров, он был жив тогда. Мэтр посмеялся и сказал, что юного Моцарта здесь и близко не видится. После чего вся семья исчезла с моего и Пашиного горизонтов, а я... а я стал ждать следующих сигналов и предупреждений. Откуда? Кто бы знал...

Должен сказать, что после этого события я несколько сник. Это выразалось в умеренном истощении моей всегдашней позитивности, появлении определённого пессимизма и подозрительности к событиям малозначительным. В остальном всё шло так же, как и раньше. Я постоянно внушал себе, что ничего необычного со мной никогда не происходило, ну не хотел я этого в своей жизни, имею право не хотеть, пусть все хоть лопнут.

По устоявшейся привычке каждые полгода менять любовницу, поменял и тогда. Как сейчас помню, её звали Диана, почему-то такие имена обожают давать детям родители несколько придурковатые, не думающие о том, что девочка может вырасти не красоткой, и роскошное имя превратится в дразнилку. Но тут ничего сказать не могу; происходила Дианочка из приличной семьи, – папенька трудился инженером, а маман – портнихой в частном ателье. Хорошей портнихой, кстати, – сшила мне чудесную фракную пару из редкостного итальянского кашемира, привезённого давным-давно и лежащего далеко в шкафу. Цену, правда, обозначила такую, что я поперхнулся, услышав цифру, хоть и не жаден. Но приезжие провинциалы всегда сверх меры и очень беззаветно любили деньги. Хоть и меньше рядовых москвичей.

Диана, надо заметить, терпеть не могла своего имени и требовала, чтобы её называли по-королевски – Ди. Она происходила из Тамбова, – уж не знаю, как родителям до перестройки удалось заполучить жилплощадь в Москве. Пробылась ко мне в окружение, пройдя через постели половины моих знакомых. Для временного употребления, она была нечего себе; молода, красива первородной красотой, категорична и неотесанна, как Буратино в бытность деревянной чуркой. Нашлось немало пап Карло, пожелавших её отесать, но она положила глаз на меня, – хотя бы из-за этого называть её совсем глупой было бы

неправильным. В процессе моих таинственных злоключений она была как раз тем, что требовалось: простота в общении, отсутствие заморочек и всего лишь одно-единственное желание – слупить с меня побольше материальных благ, чего и не пыталась скрыть. В тот момент этакая простота уровня воровства оказалась мне только на руку, дабы найти отдохновение от знаковых событий, странных кодов, значения которых я не понимал. Она полаивала на меня как мопс на вышедшего гулять сенбернара, но мне это даже нравилось, потому что переубедить её хоть в чём-то я считал невозможным, а всё невозможное обожал. Но изредка Диана меня удивляла. Когда я в очередной раз собрался во Францию, куда ездил частенько, чтобы посетить провинциальные барахолки и блошинные рынки для пополнения своей эклектичной коллекции редкостей, она, естественно, увязалась со мной. Но меня поразило другое: Диана возжелала посетить русское кладбище Сен-Женевьев, где я сам ни разу не был. На мой закономерный вопрос, а что она там позабыла, Диана, ответила, что хочет посмотреть могилу Нуриева с которой ушлые французы несколько раз тырили мозаичное, кажется, покрывало. И, вы не поверите, поклониться могиле Бунина, причём последнего запросто назвала Иваном Алексеевичем, так что я и понял-то не сразу. Короче говоря, мы поехали.

Пока я болтался по маленьким городкам в радиусе двухсот километров от Парижа, Диана, посмотрев снизу вверх на Вандомскую колонну, а Джоконде в глаза, далее посвятила время магазинам. Она пыталась на годы вперёд обеспечить себя парижской одеждой, чтобы походить на француженку, способную натянуть на себя юбку, джинсы, кеды и деловой пиджак одновременно, выглядя совершенно несмешной и безумно обворожительной. Только у Дианы плохо получалось, – было за версту видно нелепо одетую российскую провинциалку, начисто лишённую вкуса. То ли из-за выражения глаз, то ли из-за

прикида, то ли из-за налитой фигуры с разнообразными выпуклостями. Даже неловкие попытки правильно грассировать не помогли. Всё же одевшись по французской моде и пройдясь в таком виде по Елисейским Полям, она вспомнила о русском кладбище, могиле Нуриева и потянула меня туда. Поскольку я мог выискивать на барахолках разные разности начисто забывая о времени, то решил притормозить и согласился. Сначала мы для порядка и определённой законченности первого совместного путешествия посетили пустой и некрасивый Версаль, сами понимаете – башню инженера Эйфеля, сходили в музей Родена. Потом решили ехать в Шартр, где жил мой приятель, купивший для меня по случаю два интересных рисунка начала прошлого века. Путь наш лежал как раз через деревеньку Сен-Женевьев.

Диана как-то не озаботилась заказать экскурсию по кладбищу, а я в суете забыл. Поэтому поиски могилы знаменитого танцовщика, так экстравагантно покинувшего советскую Россию, заняли много времени. Я оставил Диану, – не хвостом же за ней ходить, – тем более что меня не интересовали ни Нуриев, ни его могила, – я терпеть не мог балета. Не слишком любил и Бунина, то есть Ивана Алексеевича. Поэтому меланхолически бродил между памятниками, иногда посматривая, кто лежит под ними, – это было довольно интересно, не скрою. Прогулки по любым кладбищам на некоторое время приводили мою вечно взбудораженную и, как уже было сказано, несколько циничную натуру в состояние порядка и умиротворения. Так случилось и сейчас, я спокойно раздумывал о том, сколько человек будет на моих похоронах, и какие приятные речи они будут говорить. Представил и себя; спокойного, недвижимого, не лезущего более ни в какие авантюры ради презренных денег и секунд славы, взирающего философски на толкающихся около моего гроба людишек, представляя, как много жизненных передрыг их ещё ожидает.

С этими приятными мыслями я забрёл в дальний угол кладбища, упёрся в ограду и было решил уже возвращаться, чтобы найти Диану и ехать в город, как вдруг возникло странное ощущение, что на меня кто-то смотрит. Я огляделся, вокруг не было ни души. Мне показалось, что я слышу зовущий, но совсем не печальный женский голос. Смутно знакомый голос, вот только не вспомнить, где слышал его. Я раздвинул отягощённые гроздьями цветов ветви сирени и очутился на аккуратно посыпанной чистейшим жёлтым песком площадке, имеющей форму треугольника, поскольку сзади она была ограничена прямым углом кладбищенского забора, с которого падали живописно перепутанные плети сочно-зелёного растения с небольшими белыми и очень ароматными цветками. От их ванильного аромата у меня слегка закружилась голова; я подумал, что это, наверное, от того, что погода безветренная, а этот дальний угол кладбища надёжно запрятан в зарослях кустов. Только спустя время, я разглядел главное, – небольшой прямоугольный постамент, на котором свежей позолотой было что-то написано по-французски. Мой взгляд скользнул выше, и я обомлел. Передо мной стояла мраморная Аманда, в знакомом платье-хламиде, но только босиком. Голова была повёрнута чуть влево, приподнята, подбородок будто прижимал к плечу невидимую скрипку. Да, это была Аманда, конечно же она, я видел знакомый профиль, боже мой, почему я хотел забыть его, как мог...

А голос, приведший меня на эту аккуратную и очень ухоженную площадку стих. Вместо него зазвучала негромкая мелодия, от избытка чувств я неожиданно для себя самого опустился на одно колено и склонил голову, вероятно впервые в жизни пребывая в такой позе. Но музыка сразу стала стихать, а я отчётливо услышал женское игривое хихиканье. С меня слетела вся шелуха, прилипшая за годы беспорядочной моей жизни, и поэтому хихиканье обидело меня, я встал, увидев прямо перед

собой французские буквы. Они запрыгали в такт женскому смеху, потом сложились в правильном порядке и я прочитал: "Аманда Грандель. В вечном поиске музыки. Умерла в Париже 24 апреля 1932 года".

Одуряющее пахла сирень, её запах смешивался с ванильным ароматом неизвестных мне белых цветков, чистейший песок желтел, и снова зазвучала музыка. Я не знаю кто написал её, но была она божественна, уносила выше, туда, где в колышущемся мареве горячего воздуха жил профиль Аманды, пела невидимая скрипка, перемешивая запахи, звуки и цвета, превращая перепутанное время в исчезающий свет, лампаду, зовущую туда, где всё уже происходило, но будет повторяться снова, потому что то, чему суждено родиться, все-таки рождается, изумляя живущих тайной своего появления.

Плохо помню, что произошло потом. Я кое-как вырвался из цветочной западни. В памяти обрывками всплывает, что музыка стихла. Снова послышался ехидный женский смех, и в этот момент я больно получил по щеке влажной веткой сирени. Хихиканье и удар несколько привели меня в чувство. Вдруг стало совершенно ясно, что как бы я не трудился, как не выстраивал бы кажущуюся мне верной линию поведения, я не денусь никуда. Между какими магнитами я оказался, кто влиял на меня, как искривлялось время, сходил ли я медленно с ума, – даже представить, что на самом деле происходит, показалось невозможным. Я понимал только, что заглотил неведомую блесну и судьба моя плыть туда, куда тащат. Можно дергаться, пытаюсь освободиться, что я и стану делать покуда хватит сил, но жизнь моя не станет прежней уже никогда. – "Так не лучше ли", – подумал я, – "устроить её по своему разумению в тех рамках, которые мне дозволены". Впоследствии оказалось, что эта мысль была одной из самых дальновидных. Если бы я не воплотил её в жизнь, возможно я стал бы счастливее, но ровно настолько,

насколько счастливым можно считать сумасшедшего, бесконечно складывающего и ломающего один и тот же пазл. А что? Он счастлив по-своему, вся его жизнь целиком помещена в этот пазл, да и самого страшного – ошибок – при сборке возникнуть не может, потому что всё повторяется в десятитысячный раз, а задача не меняется, да что там, – она давно забыта, важен лишь процесс. И ещё – ничто не отвлекает, – упал, отжался, отдыхай...

Я отошёл подальше от памятника, будто испугавшись чего-то, потом очнулся, хотел вернуться, посмотреть ещё – зачем? – не знал, но найти уже не смог. Оказался у большого солдатского захоронения со множеством одинаковых плит, снова вышел к забору и понял, наконец, что заблудился.

Но у какого-то помпезного памятника, я вдруг натолкнулся на потную и всклокоченную Диану, о которой совсем позабыл. Её нелепый облик быстро вернул меня в мою многогрешную жизнь.

– Где тебя носит? – дыша мне в лицо несвежим табаком, заорала она. – Меня вообще достало это кладбище, тут всё перепутано, ни черта не найдешь, поехали домой, мне в пять часов к портнихе.

– Да, точно. Тут всё перепутано, да ещё как, – подумал я, успокаиваясь. – Диана, – я посмотрел на неё равнодушно и назвал полным именем, зная, что она страшно злится, если её называют иначе, чем Ди. – Диана, садись в автобус и вали куда хочешь – я услышал свои слова будто со стороны, такие слова женщинам да ещё змеино-вкрадчивым тоном я не говорил никогда в жизни. Протянул ей сто евро. – Это тебе на автобус. А у меня тут дела. Если хочешь в Москву или в Тамбов на историческую родину, то билеты в гостинице, в левой тумбочке. Пока, детка. Береги себя.

Впрочем, точно не помню, сказал ли я ей именно это или что другое, или просто дал деньги, или обругал матерно. Всё изменилось, потому что... я не знаю, почему, только

изменилось. И мне стало предельно ясно, что следует теперь делать. Я не знал, где находится могила Аманды, но ноги сами понесли меня туда и скрытый кустами сирени уголок внезапно нашёлся. Я раздвинул ветки и, не чувствуя в себе смелости подойти ближе и ступить на ярко желтый песок, долго смотрел на Аманду. Никакой музыки, хихиканья, цветы почему-то пожухли и потеряли аромат, – я видел только строгий и очень ухоженный памятник. Всё выглядело буднично и печально

А всё потому, что исход из обыденного и взлёт не повторяются, бывают лишь однажды. Дальше всё зависит от тебя, останешься ли ты там, где нет даже птиц, а только звёзды и станешь счастлив, или вся жизнь превратится в падение – быстрое или очень долгое. Последнее особенно страшно, потому что непременно начнёт поедом есть скука упущенных возможностей.

Я побрёл к выходу, краем глаза заметив Диану, стоящую на остановке. Быстро нашёл маленькую контору кладбища, – она располагалась у православной церквушки. Главный смотритель к моему удовольствию оказался на месте. Он был стар, но крепок, весьма боек и разговорчив. Узнав что я русский, внезапно очень обрадовался и заговорил, желая, видимо, изложить мне всю свою жизнь. С полчаса я слушал, быстро понял, что он сам происходит из эмигрантов; смотрителем кладбища служил и его отец с самого основания русской части. Но когда старичок сбился на биографию деда, бежавшего от наступающей Красной Армии в Константинополь, я понял, что имею все шансы остаться тут до завтра. Поэтому я довольно неучтиво прервал старичка, попросив всё же обратить наконец внимание на меня и мой мелкий вопрос. Старичок оказался необидчив и тут же полез в толстую казённую книгу, чтобы ответить. А ответил он, что содержание памятника и могилы Аманды Грандель в должном порядке с завидной регулярностью и довольно давно оплачивает русский мсье, имя которого ему неизвестно. Один раз в месяц, а именно

двадцатого числа в час дня, он приезжает из Шартра, где постоянно проживает. Могилу не посещает никогда, оставляет деньги, не требуя расписки, и сразу уезжает. В мою взбудораженную душу закрались сомнения, переросшие в уверенность после того, как я попросил зрителя хотя бы в двух словах описать русского мсье, что тот с цепкой наблюдательностью пенсионера на посту с удовольствием исполнил. Я поблагодарил старичка, получил в ответ любезную улыбку и двинулся на стоянку.

Сел в машину, завёл её, но трогаться не спешил. Следовало бы подумать, что же дальше. Но я прекрасно понимал, что думать нечего. То, что мне предстояло сделать, виделось очень чётко и ясно, как- будто некто могучий расписал мои поступки на определённое время вперёд и вложил это расписание целиком в мою голову. Я знал, что поеду сейчас в Шартр, к тому самому русскому мсье, о котором говорил зритель. Звали мсье Евгений Глинский. Когда-то давно он читал нам, студентам Московской Консерватории, лекции по истории музыки. Был много старше меня, но почему-то выделял из всех студентов, уж не знаю, чем я ему приглянулся. Когда я покинул стены alma mater и занялся добычей пропитания, – а меньше чем на фуа-гра и консоме я согласиться не мог, – он не осудил меня, сказал, что жизнь – одна. Впрочем, он и сам представлял собой чистейший образец сибарита и эпикурейца, делающего только то, что нравится, не отвлекаясь на чуждое. Мы дружили, несмотря на разницу в возрасте, хорошо понимали друг друга; нас объединяли музыка и живопись, а это, знаете ли, при схожих мироощущениях – очень крепкие верёвки. Отъезд Глинского из России не стал неожиданностью, хотя все, и я в том числе, узнали об этом незадолго. Глинский был, так сказать, одним из последних аккордов невнятной пьесы массовой эмиграции времён перестройки. После него из известных в определенных кругах людей мало кто уезжал навсегда, – Россия в известной степени стала

пригодна для жизни и творчества. Тем более что Глинский уезжал не в пустоту, как многие, он был хорошо известен в Европе как историк живописи и музыки, пианист, коллекционер и в любом случае без места не остался бы. Так и получилось. Он продолжал сибаритствовать, читал лекции по приглашениям лучших университетов и музыкальных учебных заведений, написал несколько книг. Мы давно не виделись, только перезванивались изредка. Это именно он, напоминю читателю, купил для меня два рисунка в подарок (“с какого перепугу?” – подумал я, когда узнал). Но причина заехать, а то и специально направиться в Шартр появилась, а тут – извольте видеть – появилась и ещё одна, уж совсем таинственная. Я решил, что вытащу из Глинского всё, коль скоро он знаком... или был знаком – вот чёрт! мозги сломаешь – с Аmandой, которую я встретил в Хельсинки и памятник которой своими глазами видел в Сен-Женевьев. И почему... Чтобы сохранить ясность рассудка, я отложил дознание до встречи с Глинским, решив, что ехать триста километров думая о том, чего всё равно не поймешь, просто опасно для себя и окружающих. Приняв это решение, я тронулся... не пугайтесь, с места.

Дорога до Шартра, знаменитого своим изумительным собором, а так – тихого и спокойного городка, мучимого, правда, туристами, неожиданно оказалась приятной. Настроение, что со мной бывало крайне редко, внезапно изменилось. Ничего пугающего в том, что происходило, я уже не видел, напротив, я вдруг уверился, что все сомнения разрешатся, а тайны прояснятся. Да и тайн, наверное, никаких и нет, – так бывает часто, – то, что кажется невероятным, имеет элементарное объяснение. Настрой мой стал вдруг настолько хорошим, что я почувствовал, что соскучился по Глинскому, а от предчувствия скорой встречи даже захотелось петь, что я и сделал, исполнив, как умел, сначала ариозо Канио, а потом и речитатив князя Галицкого. Пришла мысль, что

изменение настроения связано с принятым решением всё-таки ехать к Глинскому.

Близко к вечеру я был уже в его загородном доме. Этот дом хозяин построил по собственному проекту, – небольшой, он экстерьером напоминал помесь таксы с болонкой. Ну, если угодно, венецианского палаццо и раннего шедевра Корбюзье. Внутри же полёт интерьерной мысли дилетанта казался ещё забавнее. Там царила эклектика, причём не эклектика стиля, а эклектика французского, а то и латиноамериканского блошиного рынка. Повсюду висели картины и рисунки, призванные демонстрировать разнообразие интересов хозяина. А хозяин таки был, как я понял по прошествии студенческих восторгов, всё-таки пижон и позёр. Несмотря на наличие многих достоинств, – господь, упаси меня говорить о друзьях одни только гадости. Поэтому рядом с бесценным этюдом Альбера Марке висел огромный “Праздник урожая в колхозном Доме культуры”, удостоенный Сталинской премии третьей степени, ещё дальше – мазня русского эмигранта, которую я и в худшие бы времена постыдился выставить в своей галерее. Вообще дом, словно шкатулка прабабушки, был наполнен редкостями и диковинами разных эпох, стилей и направлений, а также поделками и кичами во множестве.

Впрочем, со времен моего последнего визита к другу ничего нового, кажется, не добавилось, даже кое-что исчезло, хотя времени прошло не так чтобы много. Стороной я слышал, что Глинский за последнее время сильно сдал, манкирует лекциями в Высшей Музыкальной школе, болтается по молодёжным тусовкам и много пьёт. Кто-то сказал мне даже, что видел его на мотоцикле в чёрной бандане с черепами и кожаной безрукавке с заклёпками в компании молодых гопников обоего пола и личностей, такового не имеющих. Я не поверил.

Однако зря, в чём и смог убедиться. Всегда блюдущий себя, ухоженный и самовлюбленный (я не видел в этом ни

грана плохого – любой человек должен любить в основном себя) встретил меня в засаленной полосатой пижаме, наверняка вывезенной из СССР и принадлежавшей предкам. Был небрит, бледен, всклокочен и красноглаз. Вместо обожаемого им изысканного “Amouage”, от него за версту несло перегаром.

– Евгений Викторович, вы с хорошего похмела, – я непочтительно погрозил ему пальцем. – Что это с вами?

– Ни-ни, Боря, сегодня и рот не брал. Пиво только тёмное, люблю его.

– А вчера?

– Ну, Борик... ты же эти тусовки знаешь. Начали с Шато-Лафит Ротшильд семьдесят девятого года, – три тыщи евро за бутылку, молодой граф Бутурлин привез. А закончили водкой, как у нас принято. Тут же одни русские тусуются, заполонили всё, уезжают, приезжают, надоели. Работать не дают. Вчера ещё и накурились до посинения, я-то этой гадостью не балуюсь, лучше уж водки.

– А милейшего Витю Петлюру кто в своём доме обидел? Говорят, чуть в рог ему не дали, Евгений Викторович. Вы ж рафинированный интеллигент, должны понимать, что драться нехорошо...

– Петлюра? – Глинский не расслышал и перекрестился. – Симон Васильевич? Он же помер давно, ты что? А, – вспомнил он, – клоун тот... Его Жан-Пьер привёз, он в Россию влюблён, да всё каких-то маргиналов выискивает. А я похабщины не выношу. Особенно с претензией.

– Зря вы. Витя очень творческий человек и вовсе не маргинал. Просто не в то общество затесался. Ну чёрт с ним, потом поговорим. Давайте рисунки посмотрим.

Глинский помрачнел, глаза сузились, пальцы переплелись и сжались так, что побелели костяшки.

– Нет у меня рисунков, Борис.

– Куда ж вы их дели?

– Сжёг.

– Боже мой, зачем?

– Выпимши был. Сильно. – Глинский твёрдо посмотрел мне в глаза, но лицо пошло красными пятнами.

Я знал, что это верный признак того, что мой старший товарищ и друг просто-напросто врёт.

– Лукавите, Евгений Викторович, – без тени сомнения сказал я. Мне стало всё окончательно ясно.

– Ну... да.... Не без этого.... Нашло на меня что-то. Будто не в себе. Со мной такое случается последнее время, – он отвёл глаза. – Старею, наверное.

“Ладно” – подумал я, – “знаем, как ты стареешь, байкер, чёрт тебя возьми. Давайте ужинать, за столом расскажете”.

Глинский оживился, сказал, что как раз накрыто. Мы двинулись в столовую, стол был сервирован на двоих, хозяин переодеваться к ужину не стал.

– Я отпустил прислугу, – пояснил он. – Так что можно без церемоний, по нашему, по-русски. Сейчас водки выпьем. За тебя. Известен становишься, даже сюда, в глушь, слухи долетают.

– Да чем известен, – я махнул рукой. – Повеса молодой... хотя уже и не так, чтобы молодой. Вот дозреваю, чтобы бросить всё и в аспирантуру двинуть, Николай Арнольдович Петров приглашал.

– Это хорошо, правильно, за это и выпьем, – Глинский потёр руки, на лице нарисовалось предвкушение. Мне вдруг стало жаль его.

– И не думайте даже, – категорично заявил я. – Сначала о рисунках. Знали бы вы, как это важно для меня.

– Что? – в голосе Глинского явственно прозвучало удивление. – И для тебя важно? Почему это?

– Ну... я пошутил, – пришлось дать обратный ход, я хорошо знал Глинского, – он мог упереться. – Какая мне важность? Интересно просто, Евгений Викторович.

– Просто... – раздумчиво произнёс Глинский. – Рисунки... интересно... – лицо его погрузнело, подернулось будто рябью. – Видишь, какая странная штука с рисунками получается.... Я знаю, кому они принадлежат, хоть и

купил по случаю как неизвестного автора. Это рисунки финского художника Аксели Галена, он работал в двадцатые годы в стиле модерн, финны его очень чтят, хотя он швед по национальности. Гален был близок семье Сибелиуса, говорят, даже был любовником его жены Айно, но это сплетни. Я конечно же сразу установил автора, хотя рисунки в литературе не упоминаются, но...

– Сожгли-то зачем, Евгений Викторович? Ведь для меня купили.

– Для тебя-то для тебя, да... Ты понимаешь... На них была изображена женщина, очень похожая, почти как две капли... на другую, с которой у меня был... роман.

Серьёзный.

– И что? Мало ли похожих женщин?

– Я очень любил её, Борис. Она...

Я рассвирепел. Шоу, конечно, must go on*****, но всему есть предел.

– Она разъезжает по миру в поисках таинственной музыки, появляется в разных странах, знакомится с разными людьми, но, оказывается, умерла в тридцать втором. Ее зовут Аманда Грандель, так? Вы случайно нашли её могилу, привели в порядок памятник. При этом отношений с ней не прерывали, а вопросы задавать боялись. Потом она бросила вас, или умерла, или просто исчезла, уж не знаю, что там вышло. А сейчас вы лично отвозите в Сен-Женевьев деньги. Каждый месяц двадцатого числа к часу дня. И ничего не понимаете, поэтому пьёте как извозчик и болтаетесь в компаниях шпаны, вы, профессор и почётный академик пятидесяти пяти лет!

Надо было видеть, что сделали с Глинским мои слова, сказанные под влиянием, конечно, импульса. Он позеленел, рванул ворот пижамы, хватая ртом воздух, стал сползать со стула. Глаза его остекленели, зрачки сузились. Я почему-то не испугался, и не спеша налил в стакан минералки. Выпив воду залпом, он пришел в более-менее

товарный вид, во всяком случае нашёл в себе силы хриплым шепотом спросить: “Откуда...откуда тебе это известно? Она была с тобой? Или ты не тот, кто должен был приехать? Кто-то другой? Ты дьявол? Что тебе нужно?”

– Успокойтесь, Евгений Викторович. Всё не так сложно и страшно, хотя я, возможно, ошибаюсь, и правды мы никогда не узнаем, тем более что не понимаем, о какой правде речь. Вы, вероятно, были первым, я вторым. Или вы пятым, а я – десятым. Да не спал я с ней, видел всего-то раз, – поспешно добавил я, заметив движение Глинского, вроде как решившего дать мне пощёчину. – Вы нашли покой, освободились от неё, – я с сомнением посмотрел на мятую пижаму, вспомнил запах перегара и компанию байкеров. – Живёте размеренно, а напоминания в виде рисунков – чепуха, – так, всего лишь отголоски, а может, чтобы в тонусе были, не знаю. Другое дело я. Мне только предстоит определить отношения с ней, и моя хвалёная вами же интуиция подсказывает, что сюрпризов окажется много, она не оставит меня, уж если заинтересовалась. Поэтому я не знаю, чем сердце успокоится, как говорят гадалки. А вас даже расспрашивать не буду, ведь всё равно ничего не расскажете. Мы уже много лет не настолько близки, чтобы открывать друг другу свои тайны.

– Ты прав, пожалуй, – глядя в накрахмаленную скатерть, будто выискивая на ней пятна, произнёс Глинский. – Не настолько. Но последний вопрос, – как ты думаешь, кто она и существует ли?

– Я не знаю, и вряд ли знает кто-нибудь. Я мог бы ответить вам набором пошлостей, сказать, что Аманда – вечная музыка, вечная женственность, первородная романтика, что она живёт в нас, ведёт нас, ну и всякую прочую чепуху. Но не буду. Это не мысли, это шелуха. В этом не помощник я вам, господин Глинский.

– Да, всё верно, – решительно сказал он. – Я сейчас вернусь.

Он вышел из столовой. Через десять минут вернулся в тёмном костюме, галстук в мельчайшую полоску, лакированных туфлях, гладко выбритый и тщательно причёсанный.

– Когда успел-то? – подумал я.

– Не станем более говорить об этом, – торжественно произнёс Глинский неожиданно густым басом, воцаряясь за столом. – Я голоден. Давай ужинать.

Я уехал от Глинского в Париж рано утром, чтобы улететь в Москву. Глинский спал, а будить его, чтобы попрощаться, не стал. Потому как знал, – мы никогда больше не встретимся. Мало того, и созваниваться вряд ли станем, потому что неискренность всегда означает личный интерес. А какая может быть дружба, если имеется личный интерес? Поэтому что звонить? Потреться и так найдётся с кем.

Если до приезда к Глинскому у меня имелся чёткий план, то теперь он вдруг размылся и пропал. Остались лишь варианты. И тогда я вспомнил об одном человеке, вероятно последнем, кто мог мне помочь. И решил направиться туда, потому что наверняка знал, что этот человек на месте, дома; он жил затворником, никуда не выезжал. Откуда-то вдруг появилось ощущение, что он ждёт меня.

Об этом человеке следует сказать особо. Зосима Ааронович Котин – вы, конечно, удивитесь такому сочетанию имени, отчества и фамилии, – был для меня просто Кот. Наша дружба началась со старшей группы Совминовского детского садика на Фрунзенской набережной, продолжалась дальше, несмотря на то, что мы учились в разных школах – я в Гнесинской, он – в знаменитой Первой. Кот поступил на философский факультет МГУ, я – как вы уже знаете, в Консерваторию. Но даже тогда мы дня не могли прожить друг без друга, всегда находили занятия, интересные обоим. Даже девушек на время и для протяжённого романа выискивали

обязательно сестёр, и удавалось, представьте! Я иногда думал, что было в нас что-то сиамское, кровь ли общая, сердце ли одно, а может три почки на двоих – чёрт знает.

Сколько я его помню, Кот всегда был большим, небрежно одетым человеком с лоснящейся кожей и длинными волосами, тоже сальными. Клянусь, я ни разу не видел его коротко стриженным, – в школе преподаватель военной подготовки попал в больницу с приступом грудной жабы, расписавшись тем самым в полном бессилии заставить ученика Котина подстричься по форме.

Несмотря на высокий рост и вообще внушительные габариты, Кот был удивительно подвижен, в том числе и в мыслях, обожал парадоксы и софизмы, сыпал ими попеременно с похабными и политическими анекдотами, которые, надо заметить, были, как правило, новы и смешны. Я даже одно время думал, что анекдоты в СССР придумывает не специальный отдел ЦРУ, как нам говорили на кафедрах общественных наук, а мой закадычный друг Котин.

Он всегда виделся мне человеком очень свободным, начисто лишенным комплексов. Один мелкий, правда, был – имя. Мне, как близкому другу, Кот рассказал, что имя Зосима по замыслу его родителей, чистокровных евреев, призвано было хоть в какой-то степени минимизировать жизненные убытки от сильно неуважаемого в те времена еврейства. При этом родители прекрасно отдавали себе отчет, что сына непременно будут дразнить Зосей или Симой. Так и вышло, но Кот скоренько научился бороться с этим, давая обидчику, как он выражался, в торец. Очень сильно и больно. Хватало одного раза.

В самом начале девяностых, как только разрешили уезжать, Кот отвалил сначала в Израиль, потом – в Испанию, где и осел в замечательном местечке Монтсеррат, в горах неподалеку от Барселоны. Купил со временем дом, обзавелся хозяйством, сам делал вино, которым втайне приторговывал. А между делом написал

две книги о философии то ли Канта, то ли Шопенгауэра, – я в этом не разбираюсь; только обе издали в десятке стран, переведя соответственно, на десяток языков. Так что Кот мог ни в чем себе не отказывать, чего однако не делал, сохранив скромность желаний и определённый жизненный аскетизм.

Мы переписывались, перезванивались, я много раз навещал его, не замечая в нём никаких перемен; одевался он так же небрежно, за собой не ухаживал, ездил на стареньком “Фиате”, по-прежнему любил поповую оперу и терпеть не мог музыку более сложную, презирал живопись и обожал всю русскую классическую литературу без исключения. Тем не менее, после своей эмиграции он ни разу не посетил Москву, а на мои приглашения бурчал: “Что мне там делать, всё равно ничего не изменилось, а что раньше было – и так знаю”. В известной степени Кот был прав, и я не особо уговаривал его, сам частенько находя отдохновение в его уютном доме в Монтсеррат, местечке, славным необыкновенно положительной аурой. Я, честно сказать, её ощущал мало, но красотами любовался.

Так что сидя в придорожном кафе и жуя пирожное, я в пятый раз задавал себе вопрос – почему Кот с его философией? И чувствовал, что ответ есть, вполне убедительный, только я не могу его найти, а кто-то, без сомнения, хорошо его знает. Уж слишком императивный характер в последнее время носили некоторые мысли, приходящие в голову ни с того, ни с сего. Кот... Быть может все дело в ином отношении к жизни? Глинский был старше меня, мыслил совсем иными категориями, да и слишком многое долго нас связывало, создавая хоть и параллельное, но близко расположенное мироощущение. А Кот, оперирующий философскими понятиями, от которых и я, и Глинский были далеки, быть может, сумел бы подсказать мне что-то такое, о чем я и представления не имел. И ещё. Я вдруг подумал, что и он, возможно, знаком

с Аmandой, – почему? Я испугался, попробовал отогнать мысль, но она не отгонялась, обволакивала, овладевала мной. И тут я впервые вспомнил о записке в своём кошельке. Да, вот она, на месте, – прыгающие, наспех написанные цифры телефонного номера. Я достал мобильник и, заставив себя ни о чем не думать, тщательно сверяясь с клочком бумаги, набрал номер.

Ответили сразу. Это была Аманда.

Она не поздоровалась, а сразу капризным тоном осведомилась: ”Борис, зачем вы звоните? Вы вряд ли уверились в моей правоте за такой короткий срок, на это иногда нужны годы. Поэтому.... О чём говорить нам?”

Мне захотелось изо всех сил шваркнуть телефон об пол. Или матерно выругаться. Или опрокинуть столик, за которым я сидел.

– Чёрт тебя возьми, – заорал я в трубку, – а зачем ты посылаешь мне малахольных юнцов, зачем доводишь до полного одурения беднягу Глинского, какого черта хихикаешь на кладбище и бьёшь по морде сиренью? Почему лишаешь покоя и сна приличных людей, лезешь в их жизнь со своими загадками? Хорошо, что мне пока что хватает сил не морочить себе мозги! А скольких балбесов ты ещё охмурила своими выкрутасами? Не таких толстокожих и циничных как я?

– Глинский... – тягуче и, как мне показалось, с тоской, проговорила Аманда. – Он тонкий человек, он умеет любить, только слишком всерьёз всё воспринимает, потому что начисто лишён воображения.

– А я? Обо мне ты не думала? Что могло случиться со мной?

– С вами? Да ничего особенного, сами же сказали пять секунд назад, что вы толстокожий и циничный, – Аманда знакомо хихикнула. – Только это не поможет. Ветер, как известно, кружит, но...

От возмущения у меня перехватило дыхание.

– Ну ты...ты... – от злости я даже говорить не мог.

Аманда не ответила, только дышала в трубку. Потом с усилием произнесла:

– Я... Не сердитесь, Борис. Просто и сама не знаю, кто я и для чего всё это. Честно слово, не знаю. Только должно быть в земном существовании что-то неуловимое, чего нельзя потрогать, можно только ощутить на секунду, как запах, или обрывок давно слышанной мелодии, или интонацию. Жизнь должна трепетать, быть ощутимой, не похожей на путь от точки до точки. Как принято говорить – ”жизненный путь”, – глупее не придумаешь! Когда жизнь просто растянутое мгновение, становится тошно. Скука упущенных возможностей, как вы однажды точно подумали. А если есть трепет, дрожь, недосказанность, – всё по-другому. Жизнь даже может начаться снова, вот как обязательно случится у вас, уж поверьте, я добьюсь этого. И вероятно окажется счастливой. Или хотя бы спокойной. Или вы проведете её в вечном поиске того, что никогда не сыщется. Это так увлекает!

– А что станет с Глинским? Он спивается. Явись ему что ли, или как там это у вас называется, чёрт, что я несусь...

– Никак невозможно явиться. Но с ним всё будет нормально. Через год он переберётся в Париж, станет профессором Сорбонны, женится на молодой русской девушке по имени Диана, а меня позабудет совсем. События – они как люди в метро во время пик, – им тесно, они вроде и не связаны, но если покопаться... А что касается вас... Вы упорны, сопротивляетесь, но это вовсе не потому, что вас всё устраивает. Скорее потому, что вам неизвестно то, что вас не устраивает. И пустое упрямство. Но я девушка настойчивая и не брошу вас. Хотя мы никогда не встретимся, звонить мне больше не сможете и могилу мою не ищите, все равно не найдете, – я услышал в её голосе оттенок злорадства. – Надеюсь на простых примерах показать вам, что зря упорствуете. Вы собрались к Зосиме, это правильно. И, кстати, прислушайтесь к своему приятелю Данцевичу, он умный человек, я с ним

немного знакома. Вот, более мне нечего сказать. Прощайте, Борис. И помните, что в дальнейшем будете стремиться ко мне. Уж об этом я позабочусь, слишком много я поставила на вас. Прощайте.

Дальше в трубке была только тишина. Да и что мог я ответить? Поставила на меня... Что за ипподромный жаргон? Пожалуйста бриться, как говаривал мой отец...

Я допил остывший кофе, расплатился и поехал в Париж. Тащиться на машине тысячу с лишним километров до Барселоны и обдумывать произошедшее казалось тошным. – “Лучше уж самолётом” – подумал я. Оно, и правда, оказалось лучше, ибо уже утром следующего дня я был в Монтсеррат.

Дом Кота являл собой полную противоположность дому Глинского. Это был, скорее, дом простого крестьянина, но не без удобств и огороженный по русской традиции высоким забором, наверное, единственным в округе. Я остановил взятый напрокат “Сеат” метрах в ста от забора и пошёл к калитке пешком, вдыхая свежий, наполненный ароматом неизвестных мне цветов, воздух. На калитке увидел аккуратную табличку: “Z. Kotoff” без какой либо конкретики. Удивился, подумав: “Это что же, Кот фамилию сменил? Или национальность?”. Впрочем, следующей была мысль, что значения сей факт не имеет.

Я позвонил в колокольчик, укрепленный на калитке. К слову, колокольчик был знатный, колокол даже по величине, антикварный, века семнадцатого, – об этом можно было судить по нечёткому изображению ангела-хранителя дома. Такие колокольчики во множестве продавались у антикваров по всей Испании, особенно много я их видел в Севилье, но этот был особенно хорош – и формой, и размером, и красивой прорисью ангела-хранителя дома.

Пока я думал об этом, калитка распахнулась, и передо мной предстал Кот собственной габаритной персоной. Я

едва успел подумать, что за год, который мы не виделись, он совсем не изменился, как очутился в его могучих объятиях. Кот по-русски трижды облобызал меня, пробурчал: “Рад, рад, не ожидал” и, приобняв за плечи, без лишних разговоров повлёк к дому.

Когда мы вошли, он снова прижал меня к могучей груди и снова троекратно облобызал. – “Как раз к обеду” – пробасил он, – “У меня сегодня только тапас. Аделита приготовила и ушла, у неё сынишка приболел, так что будем вдвоём. Есть ещё козий сыр и мёд”.

– Рад видеть тебя, Кот, – искренне сказал я. – Перемены сторонятся тебя, вроде как и не стареешь.

– Труд на свежем воздухе молодит и облагораживает, – важно произнес он и приосанился, как Портос. – Ты по делу или просто так, в гости? Думаю, в гости, дела – это скучно, знаешь ли.

– Да как тебе сказать, – неопределенно протянул я. – Шатался в Провансе по барахолкам, дай, думаю, навещу. На родине дел сейчас особых нет, затишье, никто ничего не покупает и не продаёт, – кризис. Почему не заехать к сердечному другу? Кстати, – вспомнил я, – с чего у тебя табличка новая? Ты что, фамилию сменил? Или крайнюю плоть врачи обратно приделали?

Кот смутился, слегка покраснел даже.

– Да нет, я своего еврейства не стыжусь, тебе ли не знать. Только... Русских на побережье понаехало, сюда тоже добрались, дома покупают, один даже виноградники купил, уже погубить успел.

– И что?

– Хихикают над фамилией, понимаешь? Кота Базилио вспоминают. За глаза, конечно, но за всеми смешками не уследишь и в торец не дашь, как в школе. Так что я теперь называюсь Zosima Kotoff, хотя это ничего и не меняет. Вот книгу заканчиваю, так публиковать буду под настоящей фамилией. Да вообще ерунда это. Ты-то как?

– Умеренно, – ответил я. – Иду по жизни смеясь, цветы удовольствий, так сказать, срываю, изредка попадают ягоды. Главное – не сорвать ядовитую. Но кстати о ягодах, – я сутки ничего не ел. Где твои тапас?

Кот засуетился, лично отнёс мою сумку в комнату, которая всегда оставалась свободной на случай моего приезда, приказал принять с дороги душ и спускаться к ланчу. Я остался один, снял пиджак и присел на краешек кровати. Задумался.

Повадки моего друга не изменились, ну вот ни чуточки, разве что самодовольнее стал, но это мелочь. Поэтому и возник вопрос – а что, собственно, я хочу от Кота, который, как видно, всем доволен и весьма консервативен. Вот наверняка завтра потащит меня в Барселону на “Риголетто” – меня всегда тошнило от затасканного Верди, а история с “Риголетто” повторялась каждый приезд, да ещё дни моего пребывания здесь мистически совпадали именно с “Риголетто”. И ведь не откажешь – обидится, всегда обидчив был. Ну да ладно.

Я быстро принял душ, переоделся и спустился на первый этаж в столовую, украшенную бесчисленным количеством рогов, – половину Кот привёз с собой, – половину прикупил уже тут.

– Убрал бы часть рогов, – посоветовал я, спускаясь по лестнице. – Ты же Кот, а не лось. Тем более, лоси в горах не водятся.

– Дóроги сердцу, – отрезал сидящий в кресле с рюмкой коньяка Кот.

– Почём ты знаешь, может это последняя связь с родиной. Родина-то мне на фиг не нужна, но в рогах сконцентрировалась и метафизически присутствует.

– Хорошая пуповина тебя связывает с родиной-матерью, – хихикнул я. – В виде рогов.

– А что? Каждому своё, – ответил Кот, поставив рюмку на столик и тяжело поднимаясь из кресла. – Прошу к столу. Тапас, сэр...

– А что пить будем? – подозрительно спросил я. –
Неужели опять?

– Да, – не терпящем возражений тоном отвечал Кот.
– Я только это и пью. Ещё одна пуповина. Их, кстати,
может быть две? Хотя, не важно. Слушай, но ведь он
вкуснее этой португальской бурды, а у нас в Испании
портвейн вообще делать не умеют. Кислятину всякую
только. Я сам сухач изготавливаю. Но не пью.

Дело состояло в том, что используя старые знакомства и
платя, как я полагал, немереные деньги, Кот заключил
договор с Московским винзаводом. Суть договора
состояла в том, чтобы для Кота малыми партиями и со
строгим соблюдением советских лжетехнологий делали
портвейн “Агдам”, который до перестройки производился
вовсе не в Азербайджане, а именно в Москве. Отдельным
пунктом в договоре значилось, чтобы поставляемый ему
анчвайс 0,7 литра разливали в чудом сохранившиеся в
дальнем углу склада бутылки того времени и обязательно
криво наклеивали тем же чудом найденные неподалёку от
бутылок, этикетки.

Этот напиток мы в неумеренных дозах употребляли у
Кота в общаге, под смех доступных куртизанок с
филологического факультета. Меня и тогда мутило от этой
бормотухи, но – что делать, – денег не хватало, а в
компания без алкоголя – сами знаете... как долларовая
купюра с портретом Гамильтона вместо его лучшего друга
Джорджа. Я хорошо знал Кота и комплексов или любви к
фетишам не наблюдал. Поэтому страсть к “Агдаму”
оставалась для меня загадкой. Впрочем, как и причуда
обнести свой дом трёхметровым забором. Всё-таки Кот
сознательно культивировал в себе чуточку совкового, хотя
ничего плохого я в этом не усматривал.

В конечном итоге мы с Котом всё же оказались за
обеденным столом, я в огромном количестве поглощал
тапасы, чтобы не очень сильно болел желудок от
омерзительного пойла, которое никаких воспоминаний о

прекрасной молодости не вызывало. Я смотрел на своего друга и видел, что он совершенно счастлив, рад мне, своей нехитрой жизни, тапасам и “Агдаму” московского производства. – “Хорошо, что в подлунном мире есть люди, довольные всем” – подумал я. – “А может, ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них самих. Кто знает...”

Откушали, закурили сигары. Кот, улыбнувшись хитро, посмотрел на меня и сказал собственно то, чего я ожидал: “Тебе, Борик, опять повезло. Честное слово, всегда удивлялся твоему везению”. Я вздохнул и промолчал, не желая портить другу удовольствие. – “Сегодня в Барселонской опере снова “Риголетто”. Вот удивительно, как ты приезжаешь, так они дают именно его. Ну не странно ли? Вот, пожалуйста” – Кот протянул мне свежую, только что доставленную местным почтальоном Серхио, вечернюю газету. Я мельком просмотрел репертуар и от увиденного мне стало нехорошо. Страшно. Неуютно. Захотелось стать маленьким и спрятаться под стол. Но я сумел сохранить хотя бы видимость спокойствия и с равнодушным видом перекинул газету обратно Коту. – “Ты что-то не доглядел, Кот. Пролетаем мы с “Риголетто”, друг мой” – стараясь унять дрожь в голосе сказал я.

Кот взял газету, прочитал, и кинул на стол. – “Жаль” – протянул он, – “что, вторым составом нельзя дать? Обязательно отменять, знаю я, какие у них технические причины. Ну что ж, поедем послушаем камерную музыку, хотя не охоч я до неё”.

Я взял со столика газету и снова, желая убедиться, что мне не мерещится, посмотрел последнюю страницу. Моего скудного знания испанского языка вполне хватило на то, чтобы уяснить, что опера по независимым от дирекции обстоятельствам переносится на четверг. А сегодня двумя часами позже обычного времени состоится камерный концерт французской скрипачки Аманды Грандель.

И тут я впервые за всё время сдал. Надо полагать, свою роль сыграл и “Агдам” – ведь справлялся я как-то со всем, что случалось до сих пор. Впрочем, не знаю. Очнулся я на диване, с холодной мокрой тряпкой на лбу и близко увидел склонившегося надо мной друга.

– Что с тобой? – его тревога была неподдельна. – Надо врача... я позвоню – он извлёк из кармана мобилу и, не попадая в кнопки, стал набирать номер.

– Перестань – я схватил его за руку, телефон выпал, шмякнулся об пол, крышка отлетела в сторону. – Не надо, мне уже лучше. “Агдам” слишком хорош для меня, я не употребляю таких изысканных напитков. Коньяк есть? Только немного.

Кот кинулся к бару, налил граммов восемьдесят, я проглотил ароматную жидкость, показавшуюся мне мальвазией, и несколько пришёл в себя.

– Хороший у тебя коньяк, чего молчал?

Кот увидел, что опасность миновала, я говорю вполне связно и в прежнем тоне, приосанился и даже будто надулся весь, вновь напомнив мне Портоса, когда тот уже стал владетельным Дю Валлоном.

– Ну ты же знаешь, – важно проговорил он, – я люблю, чтобы у меня всё было самое лучшее... Но на концерт я конечно не поеду, а буду ухаживать за тобой. До комнаты дойти сможешь?

– Нет, – испугался я. – Ты поезжай, поезжай, я слышал про эту... Грандель, она играет популярную классику, тебе понравится.

– Уверен? – Кот с подозрением посмотрел на меня. – А если с тобой вдруг что?

– Да ничего, – как мог бодро ответил я. – С дороги устал, посплю прямо тут, а вернёшься – ещё выпьем. “Агдама” – собрав волю в кулак, добавил я.

– Ну ладно. Я телефон доктора оставлю. Пойду переоденусь и поеду, а то опоздаю. А она точно Прокофьева играть не станет?

– Не станет, – ответил я. – Она в основном известные вещи играет, я по-моему даже слышал её в Париже – пришлось соврать.

Кот с сомнением посмотрел на меня и ушёл переодеваться. Через полчаса он отбыл, а я остался один. Теперь имелась возможность подумать.

А обдумывать было, откровенно говоря, и нечего. Меня звали не Штирлиц и информации к размышлению я не имел. Мне просто стало страшно, понял, что это следующее искушение, только вот с какой целью они мне посылаются – понять не мог. Будто я святой Антоний. Конечно мог бы поехать с Котом, определить диспозицию и действовать по обстоятельствам. Тем самым я, возможно и внёс бы некоторые ясности в статус кво, но на поездку имелся запрет. Ведь Аманда четко и ясно сказала, что мы больше не увидимся и говорить не будем. Нарушать запрет было никак нельзя, я чувствовал, что последствия такого нарушения могли быть непредсказуемы. Вот и не поехал. Но тогда пропал, терялся смысл моей импровизированной (кем?) поездке в Испанию к другу. Что тоже было спорно – ожидать от Аманды ничего не значащих фраз вряд ли стоило. С этими мыслями я задремал. Мне снилась русалка с альтом, сидящая у финского озера на конторском крутящемся кресле. У неё было лицо Аманды и фигура Дианы. Сверху пикировал Глинский в костюме спайдермена и томиком Пруста в руке, который он читал на лету, сзади маячил неприкаянный Кот. Дрёма перешла в тёмный, как чернильный омут, сон.

Когда я проснулся, на часах было начало второго и я как раз услышал шум подъезжающей машины. Кот, думая, что я сплю, на цыпочках пересёк комнату, но я протянул руку и зажёл торшер.

– Проснулся! – радостно воскликнул Кот. – Как себя чувствуешь? Порозовел как поросёнок, значит лучше.

– Значительно. Как тебе концерт?

– А не было никакого концерта. Недоразумение произошло – что-то у них там с декорациями случилось, и оперу просто начали на два часа позже. И ни про какую скрипачку даже разговора не было. Я пообщался малёк с приятелями, ну с теми, кто в камерной музыке понимает, так они про твою Аманду и слыхом не слыхивали.

“La donna è mobile
Qual piuma al vento,
Muta d'accento
E di pensiero” – пропел он, неимоверно фальшивя.

Я поморщился. Собственно то, что мой друг сказал насчёт Аманды, не удивило меня, я ожидал чего-то подобного. Подозревал, что она сказала мне о пользе поездки к Коту в надежде, что я нарушу её неявный запрет. То есть стану искать встречи, несмотря на то, что она сказала, что встреч больше не будет. Но мне и в голову не пришло перечить, уже был научен, что говорить. Поэтому Кот в одиночестве прослушал “Риголетто” и находился в отличном настроении.

А что следовало делать теперь? Рассказать всё Коту? Зачем? Он, кажется, стал наивен и простодушен в этом идиотизме сельской жизни. Рассчитывать на его мировосприятие философа, знакомого со всеобщими истинами мира и жизни? Вряд ли он мог оказаться мне полезным, следовало уезжать, но куда, и что там дальше делать? Просто жить, как я уже пытался, – так ведь в покое не оставят, подкинут ещё искушений и загадок, чтобы мучился и жизнь лёгкой не казалось. А я точно знал, что лёгкая жизнь – это точно мой удел. Однако это кому-то явно не нравилось, как никогда не нравились мне стихи...ну вот эти – “во всём мне хочется дойти до самой сути...”. Никогда не хотел и пользы в этом не видел, потому что за самой сутью скрывается ещё более самая, и весь этот путь – путь в никуда, в пустоту, а жизнь, как я

уже отмечал, коротка. Поэтому... Что “поэтому” я додумать не успел, потому что левым виском ощутил на себе пристальный взгляд Кота. Повернул голову.

Маска доброго, разьевшегося, ставшего чуть глуповатым от безделья Портоса, слетела с него, и глаза были внимательны, насмешливы и холодны.

– Вставай, – произнёс он прежним, совсем юным голосом. Шагнул к бару, достал уже знакомый мне коньяк и два бокала, поставил их на стол. – Я ждал, ждал, а сейчас понял, что ты уедешь и ничего не расскажешь мне. Обмануть захотел хитрого еврея, старый друг? Не пройдет. Меня не обманешь. За стол.

Слегка обалдев, я натянул джинсы, надел рубашку и сел на жёсткий стул с высокой спинкой за грубо сколоченный крестьянский стол, накрытый, впрочем, дорожкой скатертью ручной работы. Кот плеснул в рюмки коньяк.

– И что? – учитывая ситуацию, как мог нагло спросил я. – Можно подумать, что ты можешь чем-то помочь мне. Если б ты писал книги о Шопене, поговорили бы с интересом, а ты ведь занимаешься Шопеном Гауэром, как говаривал Маяковский. Так что... Поеду я наутро, а бутылку прикончим. Пусть меня арестует дорожная полиция.

Я нёс чепуху, а Кот молчал, с прищуром смотрел на меня.

– Что смотришь? – меня взяло зло. – Считай, что я навестил тебя, ну не сложилась встреча в этот раз. Так бывает. Мы меняемся.

– Я знаком с Амандой, – вдруг буднично сказал Кот, пригубив коньяк.

– Что?!

– А вот то. Она приезжала сюда.

– Как, когда...? – мне показалось, что я ослышался.

– Три месяца назад. На белой “Ламборджини”. Очень красива. Прекрасно и дорого одета. Что тебя ещё интересует?

– Зачем, чёрт тебя дерит? Что вы делали? Неужели она консультировалась с тобой по поводу свободы как осознанной необходимости? Это, наверное, следует делать мне.

– Нет, – тон моего закадычного друга не изменился. – Философия её не интересует, а жаль, – я мог бы рассказать ей много парадоксальных вещей, меняющих сути. Но она вся в музыке.

– Да что ты? – откровенно издевательски спросил я, но Кот не услышал сарказма.

– Да. И она рассказывала о своём знакомстве с тобой. Так, ничего особенного, просто упомянула, что вы встречались, а ещё сказала, чтобы я ждал тебя в гости.

– Слушай, – я окончательно озверел. – Ты можешь ясно рассказать, с какой такой радости она посетила тебя в этих горах, пропади они пропадом вместе с тобой!

– Не ерепенся, – сказал мне Кот, будто учитель второкласснику. – Я ждал, пока ты сам сообщишь мне. Честно признаться, я удивился, увидев её имя в газете. Но сразу понял, что это связано с тобой, а ты не поедешь.

– Проницательный ты мой.... Но я дождусь ответа на вопрос, зачем она приезжала именно к тебе? На белой “Ламборджини”.

– Да, на белой. Кстати, у неё очень редкий парфюм. Такого в Париже не купить, только в Грасе. Но я отвечу на твой вопрос, изволь.

– Кот, да не тяни ж ты кота.... Из-за тебя тавтологиями стал изъясняться. Тьфу, негодяй!

– Не обзывайся. Я, как ты помнишь, очень люблю фламенко.

Я фыркнул. – “Вот уж никогда не понимал этого увлечения. Ни музыки, ни танца, одна голая сексуальность”.

– Да, за это и люблю.

Мне стало интересно: воистину, можно всю жизнь дружить с человеком и не знать о нём многого.

– Так вот, – продолжал мой закадычный. – Она ищет музыку. Не знаю подробностей, но вроде бы ту, которой нет. Она объясняла, но я мыслю несколько иными категориями, чем вы – простые смертные, поэтому ничего из её объяснений не понял. Всё, что она хотела, чтобы я свозил её в Гранаду на аутентичное фламенко, показал такое, каким оно было века назад. Его танцуют только цыгане в пещерах в Гранаде. Да и то, для туристов – одно, для себя – другое. Её, правда, не интересовал танец, ей нужны были гитарные импровизации. Она рассказала, что после встречи с тобой в Швеции, кажется, у неё что-то, я не понял что, пошло не так, и она решила изучить нетрадиционную музыку. Даже в Тибет собиралась.

– Это всё?

– Нет. Она сказала, что ты очень хороший и скоро приедешь ко мне.

– Теперь всё?

Кот покраснел и замолчал.

– Ты спал с ней, Котик? – вкрадчиво спросил я.

– Ну... да... спал. Не сразу, ни-ни..., тем более она не давала ни малейшего повода, а я, всё же, порядочный человек. Мы поехали в Гранаду, там эти цыгане и живут, – напротив Алькасара через реку. Аманда была в восхищении, сказала, что теперь понимает, где настоящее и знает, чего хочет. Мне ещё удалось договориться с одним гитаристом... я помог ему однажды... чтобы нас допустили на домашние танцы. Это было непросто и недешево, но я чувствовал, что должен сделать такой сюрприз для Аманды. Я-то сам эти представления, которые они устраивают ради их собственного удовольствия, уже видел, а она будто очумела... Когда приехали в гостиницу, она играла мне на скрипке мелодии из “Травиаты”. Отлично играла. Там, в гостинице и переспали. Знаешь, такого секса у меня не было никогда в жизни. Вернулись домой, побыли любовниками ещё неделю, а однажды просыпаюсь – её нет и машины тоже.

Исчезла... видно кончилось моё время. Но мы много говорили, и я многое понял.

– Что же, интересно?

– А что всё неправильно у меня. Что нельзя идти по прямой ни разу не свернув, хотя бы из чистого любопытства на боковую тропинку, пусть плохо проходимую, крапивой заросшую. Ведь кто знает, – что там... В общем, так вышло, Боря, я ведь совсем один. Ты ведь не влюблён в неё, Борь, правда? – тон его стал извиняющимся, даже слегка заискивающим.

Я сильно пожалел, что задал Коту вопрос. Надо было слушать и молчать.

– Конечно же нет, не бери в голову. Как ты думаешь, кто она? Сумасшедшая?

– Нет, ты что! – Кот разволновался, налил почти полбокала и залпом выпил. – Просто одержимая. Я сам такой, пока книгу писал, на пять килограммов похудел. Всё хотел новые смыслы найти и в свою систему вложить. Ну такие, о которых до меня и представления не имели.

– И удалось?

– Судя по результату, да...

– А вот мне не удалось, и визит к тебе, который, кстати, Аманда напророчила, только усугубил их отсутствие.

– Кого?

– Смыслов.

– Я могу тебе помочь? Клянусь, я всё рассказал.

Понимаю, что тут что-то не так.

– Да уж, – согласился я, успокаиваясь. – А помочь... Нет. Я только сам могу себе помочь, только не уверен, надо ли. Пойдем-ка спать, пятый час доходит, высплюсь завтра, чтобы перегаром не несло и поеду. А на Рождество жди. Хочу в Мадрид съездить. Не против?

– Я всегда тебе рад. Тем более что это будет наша последняя встреча здесь.

– Да ты что? Почему?

– Я продаю дом и уезжаю в Индию.

– Боже мой, зачем?

– Видишь ли... – Кот задумчиво посмотрел мимо меня, – я понял после того, как познакомился с Амандой, что в своих книгах предмет, так сказать, исчерпал и вряд ли смогу найти что-то новое, какие-то иные смыслы...

– Тьфу, опять эти смыслы. Помешался ты что ли на них?

– А как иначе? В них первопричины, без поиска жизнь становится жизненным путём, что противоестественно, хотя и довольно типично для быдла.

Я подумал, что про жизненный путь уже где-то слышал...

– Фу, какие слова ты употребляешь. Быдло...

– Ну назови их примитивно мыслящей протоплазмой, – какая разница.

– Но ты же никогда не занимался индуизмом, кроме того вон хозяйство какое...

– Я полгода посещал в Университете Барсы семинары одного знаменитого профессора. Всё освежил и готов к бою. Предчувствие нового даёт кураж. А так – скучно и жить вроде незачем.

Я понял, что это очередные проделки Аманды. Ещё один неугомонный родился под её благотворным влиянием. Ну хоть обошлась с ним не так жестоко, как с беднягой Глинским. Свернуть Кота с намеченного раз и навсегда пути, это ж какой силой надо обладать! Кот – не я... Хотя меня она пока не свернула. Впрочем, надо полагать, такими темпами до этого недалеко.

– Тогда по последней и спать – бодро сказал я.

Уехал я около полудня, сердечно распрощавшись с Котом. Из Барсы сразу улетел в Москву. Я по-прежнему не представлял, что следует делать и надо ли активничать или просто ждать очередных сигналов. Какой-то из них, – думал я, – должен, нет, просто обязан всё разъяснить. А там – как выйдет, смогу остаться собой – останусь, нет –

буду тем, кем прикажут. Не настолько сильная я личность, хотя и побрыкаюсь, конечно.

Таким образом, визит к старому другу принёс мне хоть что-то, а именно – каплю воинственного оптимизма. С ним я и прибыл в дождливую и противную Москву и сразу окунулся в прежнюю жизнь, причём произошедшее уже не в первый раз резко отошло на второй план, стало казаться всего лишь фоном. Я не противился этому, старался меньше вспоминать и мне удавалось.

Мой начальник по концертному залу совсем освоился в новой для себя деятельности и, как я понял, уже во мне особо не нуждался; всё-таки ГБшники, пусть и из таких непочтенных подразделений, очень обучаемые люди. Я нашёл зал в прекрасном состоянии, репертуарную сетку – выверенной, весьма достойной и сбалансированной. Нашлись дела и в галерее – мой помощник Лёша Савин времени зря не терял и работал по оставленному мной плану. Сделал несколько очень серьезных продаж, чем заслужил мою благодарность и премию. Всё входило в привычное равновесие, и до времени никто не слал мне никаких сигналов. Чтобы подстраховаться, я отложил все планируемые поездки, курсируя между Рублёвкой и своей московской квартирой. Подступали Новый год и Рождество, но я не стал даже звонить Коту, справедливо решив, что если позвоню, он непременно вытащит меня к себе. – “Ничего, съезжу к нему в Индию” – подумал, – “тем более, что никогда там не был и вряд ли буду без помощи Кота. А так – страну посмотрю и себя индусам покажу”.

Но хочу внести для читателей ясность, чтобы всё стало понятно хотя бы им. Покою мне все равно не было, как ни делал я для себя хорошую мину при неважной игре. Где-то глубоко, куда глубже всего остального, сидело понимание, что я стою на развилке, камня с рекомендациями нет, а дорог всего две. Боже мой, как не хотел я усложнения до сей поры ровно текущей жизни. Меня не волновало мое

будущее, я знал, что оно безоблачно до тех пор, пока я есть такой, какой есть. Но грозовые облака возникнут вмиг, если я начну изменять что-то в себе, насильничать. Поэтому и дороги виделась две: одна – в борьбе обрести право свое, другая – убедить себя в том, что ломать свою натуру не потребуется и все свершится по моему и ещё чьему-то (знать бы!) согласию. Но выбирать придётся. Так думал я тогда, и очень скоро выяснилось, что думал правильно.

До Нового года оставалось несколько дней, и я поехал пошляться по уже изрядно опустевшим магазинам, – купить что-нибудь в подарок себе бесценному, милым сердцу барышням и дамам, приятелям. И только я сел в машину на бесплатной стоянке у “Меркурия” на Тверской, как ко мне подскочил какой-то бородатый оборванец в допотопном пальто с каракулевым воротником и стал с остервенением тереть грязное лобовое стекло не менее грязной тряпкой. Я сделал ему знак не размазывать грязь, но он не угомонился. Тогда я вышел с намерением отчитать нахала, но остановился как вкопанный. Замер и мой визави, увидев в свете фонаря мою рассерженную физиономию. Немая сцена. Гоголь. “Ревизор”.

Первым очухался я и задал вполне себе закономерный, но глупый вопрос: “Серёга, а что ты, собственно, тут?”

Чтобы не мучить читателя и не удлинять повествование, сразу скажу, что передо мной стоял с ветошью в руке мой консерваторский приятель Серёга Серебряков. Особенно тесно мы не общались, но выпивали вместе частенько, разводя трёп о разных разностях, в том числе и о музыке, конечно, о ней в первую очередь. У Серёги был хороший вкус, играл он своеобразно, часто нарушая каноны, за что крепко получал от преподавателей. А мне нравилась его игра, особенно интерпретации Скрябина, именно в них он вкладывал больше всего личного. Потом мы потерялись, первое время я наводил о нём справки, узнавал, что он

успешно выступает даже и за границей, потом потерял окончательно. И вот теперь обрел снова зимним промозглым вечером на стоянке, трущим стекло моей “Ауди”.

Он не ответил, бросил тряпку в снег и, вытерев руку прямо о пальто, протянул мне ладонь. Я ответил на рукопожатие.

– Рад тебя видеть, рад, Борис, – голос был хриплый, прокуренный. – А я тут подрабатываю вечерами, – кому вещи поднесу, кому стекло протру. Приличный заработок выходит.

– Подожди, – я осмотрел его с ног до головы; окладистая борода, густые брови, белые от намёрзшего снега, те же голубые пронзительные глаза и много, очень много морщин. Одет, как уже было сказано, в драповое пальто с каракулевым воротником и древнюю кроличью ушанку со спущенными ушами. – Слушай, ты же подавал такие надежды, я слышал, что концертировал, и вот...

– Это было давно, – усмехнулся он. – Много воды утекло. Слушай, пойдём ко мне, посидим, водки выпьем, что тут на холоде трёп разводить после стольких лет...

Спешить мне было некуда, приглашать к себе не хотелось. Кроме того, случайные встречи в последнее время настораживали.

Мы сели в машину. – “Останови у “Пятерочки” – сказал Серебряков. – “Выпить возьму и закусить кое-чего. Дома есть еда, но мало”.

Из магазина он выскочил быстро с объёмным пакетом в руке. – “Водки взял” – сообщил, пристраивая пакет в ногах. – “Хорошей. Ты, судя по всему, гадость не пьёшь. Не думай, я приличный человек, просто мне денег много не нужно и работать весь день не хочу. Я музыку пишу, а пару раз в неделю органистом подрабатываю в костёле на Солянке. Кюре хорошо платит, у нас католики богатые. Сам-то чем занимаешься?”

– Да так, – неопределенно ответил я. – Бизнесмен гуманитарного профиля. Не жалуюсь.

– И я не жалуюсь. Когда успешного музыканта из себя корчил, – тошно было, а как понял, что к чему и что чего стоит, – другое дело. Покой душевный обрёл, чем и счастлив. Жизнь и жизненный путь – вещи разные.

Я напрягся и понял, что надо смываться. Хотя тут же эту мысль отогнал, – в конце концов, всего бояться невозможно, да и как жить, всегда опасаясь, что в твою собственную судьбу кто-то влезет и начнёт раздавать команды.

– Вот тут поверни, на Дорогомиловку. Вон мой дом – указал Серебряков. – Там у подъезда припарковаться можно.

Честное слово, я и предположить не мог, что такие квартиры как у Серебрякова до сих пор существуют, и в них живут люди. Я будто бы вернулся в уютное детство – даже мебель была такой же, как в родительской квартире. Мне показалось, что хозяин просто выпал из потока времени вместе со своим жилищем и существует сам по себе. Я конечно подозревал, что многие живут или хотят жить так, как жили в прошлом веке, однако увидеть это воочию было мне весьма удивительно.

Серебряков живенько накрыл на стол, достал два пузырька водки, причём движения его убыстрились многократно.

– Ты зашибаешь, что ли, Серый? – решив поставить все точки над “ё”, чтобы при необходимости быстро смотаться, спросил я. – Не похоже, вроде, чисто у тебя, и бутылки по углам не валяются. Может, посуду на балконе складировать? – я улыбнулся, чтобы он принял такой прямой вопрос за шутку. Не хотелось его обижать.

Он замер на секунду и посмотрел на меня. Клянусь, таких ярких и выразительных, я бы выразился ещё банальнее, пронзительных глаз не видывал давно.

Серебряков тоже улыбнулся и спокойно ответил: “Иногда позволяю. Работать помогает. Сам знаешь, что

композиция требует постоянного сосредоточения, особенно когда музыку тебе вкладывает в уши Господь” – он неожиданно перекрестился по-католически. – “А расслабляться надо, иначе дуба дашь раньше времени. Сейчас колбасу порежу и попрошу к столу”. Ушёл на кухню.

“Вон оно как, Господь в уши вкладывает”, – подумал я. – “Интересно...”

Сели за стол, выпили, налили по второй. Водка была хорошая, закуска прямо-таки гурманская, – “где он берёт паюсную икру?” – подумал я, – “её в Москве не сыскать. Пересоленная, правда, но я тыщу лет не пробовал, сойдет”.

– Я бы послушал тебя, Серый, ты на водку-то не налегай. Я, знаешь ли, в хорошем зале репертуарный директор, так что мог бы тебе выступление устроить. У нас хорошие деньги платят.

– Не... – жуя, ответил он. – Деньги мне не нужны, а известности нахлебался до ушей. Суета это. Я композитор, мои разговоры – с вечностью, ни кем другим.

– Кажется, он не в себе, – подумал я. – Послушай, Серый, но ты же классный пианист, никогда, вроде, на кафедре композиции замечен не был, с чего такой разворот?

Серебряков налил стопку водки и залпом выпил, не закусывая. Уши его покраснели, будто их надрали, да и по лицу пошли пятна. То ли от водки, то ли от волнения. По голосу я понял, что от волнения, и было пожалел о своем вопросе, но вскоре понял, что задал его совсем не зря.

– Видишь ли..., – он налил ещё и выпил, – есть множество внешних влияний, которые меняют нас. Осознанных и не очень. Я женился рано, в начале концертной карьеры... на одной из поклонниц. Женился быстро, не думая ни о чём, – так часто бывает по молодости. Быстро пожалел о необдуманном поступке, но прошло немного времени, и я понял, что моя жена гораздо лучше меня разбирается в музыке. Представляешь?

– С чего ты, выпускник Московской Консерватории, это решил? Так не бывает.

– Всё бывает. После одного из концертов в Праге, – я играл Шопена и несколько сонат Игнаца Мошелеса...

– Его мало исполняют...

– И почти не знают. Так вот, когда мы вернулись в гостиницу, молодая жена, которую я считал если не дурочкой, то уж точно не знатоком исполнительского мастерства, раскритиковала мою игру в пух и прах. Мы не спали всю ночь, этот разговор стал отправной точкой... И понимаешь...

– Что?

– Мне нечего было ей возразить. Я понял, что она во всем, ну вот в каждой мелочи и полногтя не стоящей, абсолютно права, а я, как интерпретатор – тоже мелочь, не стоящая эти же полногтя. Она была жестока со мной, да.

– Серебряков, ты спятил? Такого не может быть.

– Может, Борис, может. Она насмеялась надо мной, уничтожила. И самое противное состояло в том, что каждое её слово было жёстко мотивированно и мне совершенно нечего было возразить.

– И что дальше?

Серебряков снова выпил, глаза помутнели.

– А ничего. Я ушёл из гостиницы, надрался до невменяемости этой... как её... "Бехеровкой", на штемпельную краску по вкусу похожа... не пробовал?

– Штемпельную – нет. А "Бехеровка" гадость, да.

– В-о-о-о-т... Я тоже краску не пробовал, но убеждён, что один в один. А два пузыря вылакал без закуски. И после этого сказал себе, что это мой последний концерт.

– Неужели? Из-за ссоры с женой?

– Ссоры не было, Боря, как ты не понимаешь? Просто она... разложила то, чем я живу, по полочкам, что-то выше, чтоб не достать, что-то низко, чтобы нагнуться, – Серебряков икнул. – Она была права...

– Вряд ли...

– Права! – он стукнул кулаком по столу. – Когда я прочухался, понял, что я – ничтожество, спросил у неё что делать, как дальше...

– Вот интересно, что она присоветовала тебе?

– Писать музыку. И опять же убедительно объяснила, почему мне следует заниматься именно этим. Объяснила как профессор кафедры. На пальцах. Мне, дураку. – Серебряков залез пальцами в бороду и заплакал.

– Ложись-ка давай...

– Ты не думай, я ни о чем не жалею; я счастливый человек, потому что богоизбран, мои сочинения не пропадут, они переживут время, она обещала мне это, я потребовал клятвы и она дала её. А потом исчезла, ушла, я ничего о ней не знаю, знаю только, что не обманула и моя музыка будет жить...

Он уронил голову на стол. Я с трудом перетащил его на диван, укрыл клетчатый пледом, совсем новеньким, шотландским. Интересно, где он его взял? Но сейчас уже не спросишь, а то я бы тоже такой прикупил. Серебряков спал, громко сопя.

Я прошёлся по аккуратной доперестроечной квартире, снова ощутив себя в собственном детстве. Прошёл в смежную комнату. На письменном столе в беспорядке громоздились кипы нотных тетрадей. Не раздумывая о приличиях, я взял штуки три и двинулся к прихожей. И по дороге увидел то, ради чего всё и было затеяно. На стене висел портрет Аманды, а я... я ведь уже давно понял, кто была жена успешного исполнителя, бросившего в пять минут богемную концертную жизнь и протирающего стекла машин на стоянках в непогоду. В комнате горела только настольная лампа. Чтобы внимательно разглядеть фотографию, я зажёл в комнате свет. И поразился. На большой фотографии в старинной рамке Аманда была очень красива; одета в белый сарафан с тонкими лямками, открывающий полные плечи, волосы уложены в мудрёную старинную причёску, глаза смотрели будто прямо на меня

весело и задорно. – “Откуда что взялось” – подумал я, вспомнив Хельсинки.

Однако не испугался, потому что ждал чего-то подобного. Не стало страшно, когда она подмигнула мне с портрета – вспомнил Дориана Грея, – а что, в принципе похоже. Снова услышал смех, но не хихиканье, как на кладбище, а низкий, грудной, недобрый. Она шевельнулась на портрете, зацепила пальцами лямки сарафана и сдёрнула их с плеч. Я увидел небольшую грудь идеально круглой формы. – “Э, нет” – подумал я, – “Вот это уже ни к чему”. Закрыв глаза, потряс головой. Когда открыл глаза, Аманда была в прежнем виде, замерла на фотографии. Теперь диспозиция разъяснилась. Я погасил свет, вышел из комнаты. Услышал сопение Серебрякова. Он лежал на спине, задрал бороду вверх, укрытый по шею шотландским пледом. Я свернул в трубочку нотные тетрадки, сунул их в карман пальто. Выйдя на лестницу, плотно притворил за собой дверь. Мне показалось, что замок щелкнул как выстрел. В кого?

Встреча с Серебряковым подействовала на меня странным образом. Вернувшись домой, я проспал пятнадцать часов, проснулся бодрым и сразу сел за рояль проиграть серебряковские тетрадки. Но это оказалось не так просто, – музыка, – а это, несомненно, была настоящая музыка, новая, свежая, живая (последнее я особо отметил для себя) – оказалась безумно трудной технически. А я, естественно, потерял класс, поскольку играл редко и только для себя. Впрочем, то, что нужно понять, я понял. Решив ещё раз непременно навестить Серебрякова и склонить его к выступлению на вверенном мне культурном объекте, я спрятал тетрадки в ящик стола и на время забыл о них. Что касается присутствия Аманды в квартире моего консерваторского друга и его откровенного рассказа... Вероятно, мне не поверят, но я остался спокоен. Анализируя потом то, что произошло, я вдруг понял, что

узнав в оборванце Серебрякова, о котором много раз слышал как об успешном пианисте, я сразу с той или иной степенью точности, угадал, что мне суждена очередная встреча с Аmandой. Хочу я этого или нет. И, вероятно, мне предстоит жить, сообразуясь с пока неизвестным расписанием этих встреч. Но тихий саботаж пока никто не отменял, это хороший метод сопротивления, когда плохо знаком с ситуацией.

Через некоторое время я вспомнил, что давно не навещал Кутузова-Данцевича. – “А самое время теперь” – подумал я. – “Пусть покопается в моих мозгах, вдруг выудит что-нибудь неправильное, что пока ещё можно исправить. Как-то не хочется закончить жизнь в скорбном доме. Вон, на Западе сразу бегут к психоаналитику чуть настроение испортилось, чем я хуже. Да и коньяк у него прекрасный”. То, что Аманда в разговоре по телефону назвала его имя, я вспомнил уже нажимая на кнопку звонка в его квартиру.

Данцевич не удивился моему визиту, только по-отечески пожурил за то, что долго не являлся.

– Но если пришёл, значит я нужен тебе, – добавил он. – Оно и лучше, чем бегать по каждому поводу, как нервические дамочки и бледные юноши с твоей Рублёвки.

Что-то нашло на меня, возник какой-то страх перед профессором, и я отрапортовал, да, именно так, обо всём, что произошло с момента нашего последнего свидания. Не упуская важного, но и не застревая на мелочах. Под конец рассказа не слишком уверенно высказал мысль, что я лишь один из ряда людей, попавших в поле зрения, некоей силы почему-то желающей изменить их жизнь и повести путём, известным лишь ей, этой силе. Добавил, что говоря честно и откровенно, в глубине души опасаясь за своё душевное здоровье и вот... прибыл на освидетельствование, дабы профессор рассеял мои сомнения. Хотел отдать честь, но вовремя передумал.

Данцевич молчал, видимо переваривая сказанное мной.

– Скажи, а вот все эти твои... переживания, – они доставляют тебе неудобства в обыденной жизни, какой-то дискомфорт?

– Нет, – честно ответил я. – Они стали частью моего существования, я жду очередного сигнала, мне даже интересно, каким он будет. Только вот не хочу ничего менять.

– Нет, дружок, – профессор улыбнулся, – поменять ты не прочь, только вот не желаешь, чтобы кто-то делал это за тебя.

– Какая разница....

– Возможно. Но ты совершенно здоров психически и в моей помощи не нуждаешься.

– Ты что-то знаешь, – с подозрением сказал я. – И Глинский знает, а говорить оба не хотите. Черт вас возьми, интеллектуалы хреновы, друзья называется. Я что для вас, – повеса, разгильдяй, мелкая рыбёшка, хоть и денежная. А вы, мать вашу, профессора.

– Это ты зря, – голос Данцевича прозвучал искренне, в нём я отчётливо услышал нотки горечи и пожалел, что сказал резкость. – Ты талант, я по-хорошему завидую тебе и никогда не видел ничего дурного в том пути, который ты выбрал. Каждому своё. Ты, в отличие от меня, подвижен в мыслях и поступках, тебя ведёт интуиция, а она, как правило, отторгает стремление к познанию. Это не плохо и не хорошо, – данность. Должны расцвести все цветы.

– Да ладно, – неучтиво прервал я Данцевича. – Ты мне это, кажется, уже когда-то говорил, так что не напрягайся, я не обиделся. Ты мне про Аманду лучше...

– А что Аманда? В медленно закипающий сосуд твоей жизни влили немного свежего вина, и ты поднимаешься на ступень выше. Твой путь не вперёд, как у нас, а вверх, что бы ты там себе не думал. А выше, – оно всегда лучше.

– Слушай, профессор, а кто она? – со страхом спросил я, повторяя вопрос Глинского, обращённый ко мне. – Ты не

предполагаешь? Она сказала... – я вовремя спохватился и замолчал.

– Предполагаю, – профессорский голос был твёрд. – Но что значат мои предположения, и почему я должен сбивать тебя с толку? Личность твоя довольно проста, а путь – достаточно незатейливый, бывают на порядки сложнее и запутаннее. Пройди свой путь сам. Смерти нет, друг мой, а вот нерождённость есть. Мне, кстати, понравилось, как твоя Аманда определила ещё один уровень, точнее аспект бытия. Коньяк будешь?

– А то! – горестно воскликнул я.

Данцевич почти ничего не объяснил мне, хотя и внятно дал понять, что я нормален. Очередная пьянка с психиатром снова пошла на пользу. Червяк сомнения, видимо, поимел тяжкое алкогольное отравление, от которого впал в кому или даже скончался. Судьба его мне неизвестна.

Прошло три месяца. Я совершенно успокоился почему-то. Уверился вдруг, что обо мне в суете и делах многих благополучно позабыли, что не могло не радовать. Сделал пару хороших выставок. Меня наконец познакомили с великолепным Олегом Погудиным. Я уговорил его попробовать петь старинные арии, причём сам взялся аккомпанировать ему на клавесине. Мы долго репетировали, в итоге дали несколько концертов, прошедших с аншлагом. Хорошо заработали, и я в первый раз честно поделил гонорар на две равные части.

Котин прислал горестное письмо о том, что уже несколько месяцев ждёт меня в Калькутте, где купил дом, и дописывает книгу по брахманизму, начисто выкинув из головы плоскую и избитую философию Шопенгауэра. – “Как я мог жить этой ерундой!” – экспрессивно восклицал он. Раньше такой экспрессии я за ним не замечал. Прислал электронное письмо и Глинский, сухо справлялся о моем здравии и вяло приглашал на свадьбу. Памятуя наше

последнее свидание, я не ответил. Заезжал Паша Лобов, который, если читатели помнят, привез того самого мальчишку-импровизатора. Его родители наплевали на мнение маэстро Петрова и пошли по инстанциям. В итоге мальчишка поступил в Гнесинку и, как сказал мне Лобов, проявил вдруг недетские способности по головам шагать к вершинам музыкального Олимпа.

Вот так в привычных занятиях, в получении весточек от друзей текла жизнь. Но то, что должно было случиться, случилось.

Я сидел у себя в кабинете и рисовал план следующей большой выставки. Она обещала быть успешной, и под неё я решил кое-что перестроить в галерее. С планом получалось пока плохо, и я стал думать, что надо бы пригласить специалиста. Заглянула секретарша. – “Борис Александрович, к вам посетитель” – прошебетала она.

– Какой, однако, противный у неё голос – зло подумал я. – И как это раньше не замечал?

“Что ему надо?” – я оторвал глаза от плана выставки. – “Вообще-то я занят. Могла бы наврать, что меня нет. Уехал навсегда.” – “Говорила” – обиженно фыркнула Катерина, – “я воробей стреляный. Только посетитель из упёртых. Сел, сказал что будет ждать. Даже ночевать останется. Посплю, говорит, на лавочке во дворе – благо тепло, а завтра снова ждать стану. И представиться не желает. Утверждает, что дело у него... как это... архиважное”.

Я понял, что от беседы с незнакомцем не отвертеться. – “Зови” – буркнул я, в глубине души довольный, что можно хотя бы на время оторваться от осточертевшего плана выставки и с кем-нибудь побалакать.

В дверях нарисовался изящный высокий мужчина в длинном пальто и закинута за плечо белом шарфе. На голове я увидел модную клетчатую шляпу с узкими

полями, которую он немедленно снял и зачем-то прижал к груди.

– Чем обязан? – буркнул я, не вставая. – Мы знакомы?

– Не имел чести, – хорошо поставленным басом проговорил незнакомец. – Лыщу себя надеждой, что вы, господин Димитров, найдете возможность уделить мне пятнадцать минут вашего времени, которое, как мне хорошо известно, стоит очень дорого.

Я понял, что веду себя крайне невежливо и немедленно укорил себя за это.

– Прошу, – вставая, произнёс я и указал на кресло у стола.

– Сердечно благодарен, – сказал незнакомец, снимая пальто и оставаясь в прекрасном тёмном костюме от “Zegna”, ослепительно белой сорочке и явно не российского производства велюровой бабочке у крошечным светлым камнем посередине (я видел такую в первый раз). – Но позвольте прежде представиться: Илья Ильич Аронов, солист оркестра Пермского театра оперы и балета. Первая скрипка.

Решив про себя, что в Перми солисты театральных оркестров живут очень даже ничего себе и порадовавшись этому, я пригласил присаживаться.

– Чем обязан столь приятной встрече? – дежурно проговорил я. – Кстати, что желаете выпить? Вино, виски, коньяк?

– Благодарю, – ответил господин Аронов, – час ранний, я предпочёл бы воздержаться. А что касается причины моего визита – она проста. – Аронов постучал пальцами по столу, открыто и ясно взглянул на меня. – Мадмуазель в бешенстве.

– Простите?

– Разве я неясно выразился? Мадмуазель в бешенстве, и мне поручено передать, что вы ведёте себя возмутительно, игнорируя её посылы. Неужели вы хотите остаться таким навсегда? – лицо господина Аронова выразило удивление,

разбавленное несколькими каплями абстрактного отвращения. – Такого же просто не может быть!

Я уже всё понял.

– Отчего же не может? Именно этого я и хочу. Кстати, по какому праву мадмуазель вмешивается в моё существование и навязывает мне свои приоритеты? Кажется, это я помог ей в Хельсинки, а не наоборот.

– Я не в курсе, – быстро ответил Аронов, – а ваш вопрос по поводу права очень мне странен. Я даже не могу подобрать слова, чтобы доходчиво ответить вам. По праву сильного, наверное. Да, пожалуй так.

Я возмутился.

– Господин Аронов, я думаю, что мою вам аудиенцию пора заканчивать. А мадмуазель передайте, что я не желаю играть по её правилам. Только по своим хочу, да-с.

– Что вы, что вы! – Аронов явно испугался. – Я никогда не смогу передать мадмуазель такие brutальные слова, даже не думайте! Она расстроится, а мы завтра даем “Тангейзера”, это очень сложная музыка, не хотите же вы, чтобы оркестр фальшивил и нас освистали?

– Илья Ильич, – я понял, что понимания не будет, если не внести ясность. – Давайте начистоту. Что хочет от меня мадмуазель Аманда? И почему именно от меня, а не от...ну, моей секретарши, скажем?

– А вы не догадываетесь?

– Догадываюсь, но хотел бы услышать от вас.

– Видите ли, вы – интересный... экземпляр. Талантливы, очень добры и чудовищно эгоистичны. Последняя ваша черта делает вас абсолютно свободным, но эту свободу вы используете так бездарно... Думаю, что в связи с этим вы попали в поле зрения мадмуазель. Поверьте, что она ни в коей мере не желает лишить вас и толики этой свободы, вы останетесь совершенно вольны в своих поступках, но перейдете в иное качество, – нам пока не дано знать в какое, но несомненно, высшее. Не утруждаясь обретением мудрости старца, вкуса выдержанного коньяка, харизмы и

прочих житейских мелочей. Без разочарований и ненужных обретений, суеты, клоунского кривлянья, а вот так сразу. Вам повезло и, поверьте, я всё отдал бы, чтоб оказаться на вашем месте.

– А зачем это надо Аманде? Она что, ищет таланты? Хобби такое? И вообще, хоть от кого-то я услышу ответ – кто она такая,

– Боюсь, не услышите – вздохнул Аронов. – Я не знаю людей, ныне живущих и нет, кто бы это знал или, во всяком случае, мог определить. Хотя в разговоре с Глинским, отвечая на такой же его вопрос, вы чуточку приблизились к истине. Но это лишь мое мнение, не более. Вряд ли даже сама мадмуазель Аманда смогла бы объяснить вам, хотя она – абсолютно реальна, вероятно, реальнее нас всех вместе взятых. А что касается “зачем” – не всё на свете делается “зачем”. Кое-что и просто так. И именно это “просто так” позволяет сохранить мир в целостности, хотя бы касательно сокровищ духа, накопленных в нём за прошедшие века и тех, которые в дальнейшем накопятся. Думаю, мне нечего более добавить.

– Вы хотите сказать, что я должен слепо поверить вам и незнакомой оборванке (в другом, простите, состоянии я мадмуазель не встречал) и делать то, что мне укажут. И при этом вдобавок быть уверенным, что буду не менее счастлив, чем теперь.

– Более, гораздо более чем теперь, ибо вы ощутите себя частью времени и поймете, что можете влиять на него. Замедлять, например. А в остальном – вы всё обозначили точно, – Аронов развёл руками.

Странная метаморфоза произошла со мной. Я вспомнил мальчишку-скрипача, Данцевича, Кота, Серебрякова, посмотрел на Аронова и подумал, что им вряд ли сильно хотелось что-то менять, но они не дёргались. Правда, пришла мысль, что наверняка имеются и те, кто не рискнул и послал Аманду с её искушениями куда подальше. Но последнее вряд ли имело значение.

– Хорошо, – я посмотрел на Аронова. – Я не буду больше противиться, тем более что мадмуазель, как я думаю, сильно привязана ко мне.

– Да, – перебил меня Аронов, – именно привязана, вы очень нравитесь ей и нашли точное слово. Кроме того, вы первый за очень долгое время, кто проявил столь разительное упорство.

– Что же мне следует делать?

– Всею своё время. А я благодарен вам, – полагал, что мне придётся потратить на порядок больше усилий, чтобы убедить вас. Я бессилён против иронии, сарказма, не понимаю их, поэтому и побаивался вас. Но теперь совершенно очевидно, что получу повышение. Благодарю вас, господин Димитров. И...при возможности замолвите за меня словечко, если не в труд.

– Непременно. И что, вы вот так меня оставите теперь? Аронов снова развел руками.

– Моя миссия выполнена. Дальше будет решать мадмуазель. Она всегда решает важные вопросы только сама.

Я мысленно согласился с ним, вспомнив Сенатскую площадь в Хельсинки.

А Аронов уже надевал пальто.

– Рад был знакомству, господин Димитров. Мы, скорее всего, больше не встретимся. Искренне желаю вам удачи.

Он вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Странная тишина окутала меня, за окном перестал шуметь ветер, секретарша не трепалась по обыкновению с симпатичным посетителем или по телефону, затихли рабочие, стучавшие молотками в залах выставки, не тикали даже напольные часы. Я остался один. И понял, что следует привыкать к этому.

В первые месяцы никто не беспокоил меня. А в начале лета, только собрался я ехать в родную Финляндию, намереваясь по обыкновению посетить Данцевича с целью

получения ценных указаний, пришло вдруг по почте письмо. Штемпель с адресом отправителя пропечатался нечётко, я так и не понял, откуда оно. Шло долго, судя по засаленным и потрёпанным краям, сам конверт был из серой с вкраплениями бумаги, в такую, – я помнил из раннего детства, –заворачивали колбасу в магазине “Молочные продукты” на Таганской площади. В письме по пунктам было перечислено, что мне следует делать и в какой временной промежуток. – “Эх”, – подумал я, прочитав, – “если б ещё написали, что у меня впереди... Дождёшься от них, как же”. Но сомнения давно уже пропали, пропало и желание сопротивляться, возник даже интерес, и немалый, куда меня определяют. Я так и думал: “куда определяют” и не испытывал при этом ни малейшего унижения, стыда, дискомфорта, – что вообще можно испытывать когда некто строит за тебя твою жизнь. Впрочем, изучив письмо, я, надо сказать, не расстроился.

Паша Лобов с удовольствием купил галерею и часть моих коллекций, остальное разошлось “на ура” среди знатоков и специалистов, пять вещей купили даже музеи. Хороших денег стоили и квартира, и загородный дом. Но уезжать не спешил, поскольку боялся нарушать инструкции – кто знает, чем могло кончиться для меня малейшее нарушение. Может, и ничем, но я как-то внезапно стал послушным, а в немногие минуты сомнения вспоминал, как превратился в скрипичный ключ. Сомнения сразу пропадали. Потом, совершенно неизвестно, что лучше, – жить счастливо чужой жизнью или самостоятельно вымучивать свою. Это я так, вообще.

Я снял просторную квартиру-студию около метро “Новослободская” с окнами на аллею небольшого парка. Из мебели в студии почти ничего не было; стоял только концертный белый ”Стенвей”, который настроил для меня лучший специалист в Москве. По шесть-семь часов в день я играл невероятно трудные этюды на развитие техники, восстанавливая уже во многом утраченное мастерство.

Мне нравилось, я чувствовал, что обретаю доселе неведомое чувство, которое трудно объяснить словами, вероятно, это было чувство власти над музыкой... или инструментом, которое куда выше власти над какими-то там людишками. Когда уставал – принимал душ, съедал пиццу и снова садился к роялю, чтобы он поведал мне, о чём надо играть. “Стенвей” никогда не ошибался, его клавиши выбирали нужные пальцы, и мы были счастливы вместе. Мелодии у нас получались больше грустные, но иногда выходили бравурные и оптимистичные, один раз даже сыгрался марш. Около одиннадцати ко мне приезжал Н.П., пианист с мировым именем. Мы долго беседовали за чашкой чая или бокалом вина – по настроению, потом вместе садились за рояль. Я играл самое сложное – Листа, Бартока, сонаты Скарлатти, Прокофьева, – он внимательно слушал, останавливал, поправлял, показывал, где ошибаюсь и как надо. Уходя, всегда говорил на всякий случай ”прощай” и исчезал в теплом московском вечере, медленно брел парком, зная, что я смотрю ему в спину из окна, пока он не свернёт к выходу на Новолободскую улицу. Дни текли быстро и, обернувшись, трудно было отличить один от другого.

Но прежде чем приступить к выполнению навязанного мне плана, я все-таки решил немного развлечься – кто знает, придётся ли когда. Долго гадал, где развлекаться, пока один из приятелей, немного сдвинутый на путешествиях по экзотическим странам, не посоветовал мне Ко-Дек-Куль, островок неподалёку от материковой части Камбоджи с единственным дорожным отелем всего на тридцать мест. Приятель сказал, что место романтическое, а если будет скучно, всегда можно поехать смотреть памятники, просто по девкам или завести одну постоянную на все две недели. Я быстренько забронировал апартаменты в отеле и продолжил совершенствоваться в музыке, пока Н.П. не сказал, что ему более нечему меня

учить. Лукавя, конечно, добавил, что ученик быстрыми темпами превосходит учителя. Мы сердечно попрощались, и он уехал на гастроли. А мне оставалась до отъезда целая неделя. Я съездил на Рублёвку – галерею мою уже начали перестраивать, раскурочили всю. Паша Лобов ходил фертом и раздавал указания. Попутно сказал мне, что я всё делал не так и выставлял не то. Я пожелал ему съездить в Финляндию отдохнуть, а про себя подумал, что вдруг повезет и он встретит там Аманду. В концертном зале сердечно попрощался со своим начальником, он вытащил бутылку дорожной водки, накрыл, как умел стол, мы славно пообщались, я даже подумал, почему не делал этого раньше – дядька, оказывается, прошёл через многое, прежде чем оказался на тёплом месте в Пятом Управлении. Домой я вернулся в настроении несколько тоскливом, но довольно терпимом, поскольку я успел смириться с тем, что всё поменяется. Неделю я слонялся из угла в угол, сделал несколько выездов к друзьям и дорогим сердцу бывшим подружкам. Наконец улетел.

Место оказалось совершенно восхитительным, и мне не было скучно среди тропической растительности в полном одиночестве. Ко мне было приклеилась какая-то бальзаковского возраста француженка, я переспал с ней, а наутро беззастенчиво послал подальше. Она пыталась возмутиться, но я быстро успокоил её. Только фыркала и отворачивалась, когда мы встречались в маленьких и уютных ресторанах отеля.

Дни текли медленно. А я думал. О том, что прожил, о том, что предстоит. Но если первое я, в общем, мог оценивать, – насколько объективно, – не знаю, то второе виделось мне загадочным и совершенно тёмным. Однако я крепился, вспоминая свой девиз – “Quo non ascendam”. Проще говоря, полагал, что если сумел устроить полное для себя счастье в одной точке мира, то несомненно смогу и в другой. Какие бы расчёты на мне не строили.

Мне всегда очень нравились тропические ночи, особенно безветренные; они совсем другие, чем у нас, они обволакивают, в них всё гармонично – ненавязчивый шум океана, светящиеся узоры кораблей на рейде или вдалеке, крики птиц и запахи. Сам ты теряешься в черноте, и наступает странное ощущение, что можешь всё, но – увы, – ничего не хочешь, лишь бы никто не выдернул тебя как редиску из этой сладкой гармонии, частью которой себя в такие моменты чувствуешь.

Но в тот поздний вечер светила яркая полная луна, на небе не было ни облачка, весь пляж хорошо просматривался. Из-за отлива до воды было далеко, но легкий шум прибоя всё равно слышался. Я в очередной раз задумался, но размышления мои прервал доносящийся справа звук автомобильного мотора. Я посмотрел в ту сторону и увидел приближающийся свет фар. – “Кто это ездит на автомобиле по пляжу во время отлива?” – подумал я. – “Тут и джип здоровый по мокрому песку не пройдет, завязнет”.

Однако это оказался не джип, а низкая белая “Ламборджни”. Машина ехала легко, ни секунды не пробуксовывая, почти по самой кромке воды. – “Чудеса” – подумал я, – “как она попала на остров? Тут и паром-то раз в неделю ходит и неприспособлен он для машин. Ну может одна поместиться...” И тут же обозвал себя идиотом – пребывание на острове и одиночество явно повлияли на мои умственные способности. Я ведь прекрасно знал, почему белая “Ламборджини”, и кто ведет её, и почему она едет так свободно, будто летит над мокрым песком. – “Вот и встреча” – довольно спокойно подумал я, – “понимать бы, нужна она мне, а если да, – то зачем. Вообще-то нам не суждено встретиться, она сама запретила”.

Автомобиль свернул в мою сторону, отдаляясь от воды, и остановился совсем близко. Я зажёл фонарь, стоящий у шезлонга, он показался мне очень ярким после липкой как

сажа темноты. Дверь машины с приятным жужжанием открылась вверх, и Аманда шагнула на песок. Что сказать? На этот раз на ней было красное платье, высоко закрывающее шею, украшенное настоящими (меня не обмануть, я одно время увлекался историей костюма) брабантскими кружевами. Распущенные волосы падали на плечи, она была прекрасна, Аманда. Куда лучше, чем на портрете в квартире Серебрякова. Таких женщин надо обходить стороной, в них нельзя влюбляться, можно только любить, плюнув на любые свои желания и амбиции. Они забирают в рабство без возможности стать хоть когда-нибудь свободным. А если тяготишься этим, то лучше не знать их никогда.

– Здравствуйте, Борис, – спокойно произнесла она. – Я рада встрече, хотя едва нашла вас.

– Здравствуй, Аманда, – со странной робостью ответил я. – Я был уверен, что больше не увижу тебя. Ты же сказала сама...

– Это правда, – она пожала плечами. – Ты и не видишь меня.

– Это как? Даже после всех твоих сигналов я покамест в своём уме.

– В своём, – кивнула она. – Я – всего лишь мираж, а настоящая Аманда – очень далеко отсюда. Она умеет отражаться от событий, от неба, земли, воды, стихов, главное – от музыки. Ты вчера играл Гайдна в пиано-баре, долго играл, для себя, вот она и отразилась от сонаты, и я, её отражение, теперь здесь. Мне велено сказать тебе нечто важное...

Я почувствовал раздражение.

– Тебе...то есть ей все мало, – пробурчал я. – Указания получены, частью выполнены, дальнейшее выполнение – вопрос времени. Я бросил всё и готов ко всему.

– Я буду говорить “я”, подразумевая, что именно это сказала бы Аманда, а то как-то непривычно. Вернее, неестественно. Тем более, что она и есть я в определённой

степени. Не я есть она, заметьте, Борис, а именно так, как я сказала. Хотя разобраться в этом нормальном человеку невозможно. Так вот, я знаю, что вы готовы, и мне немало стоило завоевать вас. Тихие саботажники, отказывающиеся от того, что и представить не могут, мне пока не попадались. Да что там, – молодых, талантливых и умных – пруд пруди, любой из них был бы счастлив. Но вы...особый.

– В чем же моя особенность? И почему меня выделили из массы других? Несмотря на то, что я отчаянно сопротивлялся, будто насилуемый извращенным способом. А что? Примерно так и было, – я даже сам улыбнулся точности пришедшего сравнения.

– А, бросьте, Борис. Заполучить вас не составило бы труда, как Глинского и Серебрякова. Но они глупы, а у вас острый ум. К тому же вы – очень добрый эгоцентрист, что потрясающая редкость. Вас нельзя пугать или заставлять. Вас следовало убедить, что в целом удалось. Вы даже не представляете, какие возможности обретёте, и насколько складной станет ваша жизнь. Но есть и вторая причина... – она замолчала. – Эта причина важнее всего, именно из-за неё я не плюнула на вас, а столько с вами мучилась.

– Что же это такое? Быть может, мой пофигизм? Или всё же музыкальное дарование, позволяющее хотя бы отличать хорошую музыку от плохой? В независимости от того, живая она или мёртвая.

Она молчала, глядя в песок и ковыряя его тувелькой на каблуке-шпильке.

Подняла глаза. В них стояли слёзы.

Мне стало жаль её, я не понял откуда слёзы, но вдруг увидел, как одинока она, и это одиночество, в отличие от моего, приносит ей страдания.

– Почему ты плачешь? – я коснулся её щеки. – Не стоит, ты сама говорила, что непредсказуемость делает жизнь настоящей, во всяком случае, для таких, как ты и я. В чём же дело? Почему всё так?

– Потому, что я очень хочу, чтобы вы были еще счастливей, чтобы узнали многое, чтобы оценили великие возможности, которые я могу вам дать. Потому... потому что я люблю вас, Борис.

У меня закружилась голова. Стало душно, я опустил на шезлонг. Таких слов мне ещё никто не говорил, наверное по той причине, что любовницы попадались сплошь честные и искали у меня иных предпочтений. Кто каких. Так что повторяю: эти слова от женщины я слышал впервые за свои тридцать с уже длинным хвостиком лет.

– Но, – Аманда снова плотно посмотрела на меня, – показалось, что наши глаза слились в два общих больших зрачка, и мы на секунду увидели нутро друг друга. – Но мне запрещено любить, поэтому я не знаю и не могу понять, – любовь это счастье или выдуманная романтиками обуза. Или огромное несчастье, если конечно, дана на всю жизнь и не разделена. Но... я люблю вас, – это моя тайна. Поэтому сделала что могла – хотя бы приблизила вас к себе. Вы никогда не увидите Аманду и ни одно из ее отражений, она лишь будет писать вам иногда, – это не запрещено. Станет предлагать встречу, – возможно. Но вы не верьте, она иногда выдает желаемое за реальное, как многие женщины. Вот и всё, что я хотела сказать вам. Мне нужно ехать. Прощайте, Борис.

Повинуясь внезапному импульсу, я взял её за руку, – пальцы были холодны, – и поднёс ладонь к губам. Она вздрогнула.

– Это нельзя, никак, даже думать об этом нельзя, – зашептала она, – Мы с вами на виду гораздо больше, чем вы думаете. Аманде сильно достанется, да и вам может перепасть.

– Послушай, – прошептал я, – я знаю, что ты никакое не отражение. Ты – она...

– Вы ошибаетесь. Всё так, как я сказала вам.

– Ну ладно, пусть так, разницы нет. Но может быть мы всё же смогли бы...

Она холодно посмотрела на меня.

– Нет, не смогли бы... Никогда. Это запрещено, а кроме того...ведь вы, Борис, не любите меня. И вообще никогда не любили и не полюбите. Вам хватает себя, всё остальное – помеха жить.

Что ж, эта Аманда-не-Аманда была права. Настало время закругляться, больше говорить было не о чем.

– Ну что ж, давай прощаться тогда, – я снова, преодолевая заметное сопротивление, поднес её руку к губам, уже не стесняясь, поцеловал извитую синюю жилку на запястье, скользнул выше, прикоснулся губами к мягкой мочке уха. Она часто задышала и резко вырвала руку.

– Прощайте, Борис. Не надо так. Вы покалечите Аманде жизнь. Женщина слаба.

Я мысленно обозвал себя подонком и отступил на шаг. Всё-таки кобель выпрет из любого мужика, сложились бы условия. А если барышня брыкается – это завсегда и с особым кайфом...Тьфу!

– Прощай. Пусть Аманда не держит зла на меня. Даже если когда и встретимся – не повторится. И попроси писать мне почаще.

Она кивнула и пошла к машине. Заурчал двигатель, дверь опустилась. Красные фонарики быстро, ох, слишком быстро растаяли в темноте.

Я сел прямо на песок. – “Что это было? Нет, что теперь делать? В прежнюю жизнь не вернешься, пуповина, как говорил Кот, разорвана, вон, даже рогов нет. Осталось мне тут три дня. Пойду-ка напьюсь...”.

Я двинулся в ночной бар, за бешеные деньги купил там два пузырька очень хорошего коньяку и методично, закусывая тропическими фруктами, надрался в хлам. Облегчения это не принесло, но хотя бы хуже не стало. На следующий день продолжил, и в самолёт сел тоже не совсем трезвым. Воспоминания начали расплываться на втором часу полёта. Прибегать дальше к помощи алкоголя мне показалось бесполезным и даже опасным.

ЭПИЛОГ

Мадам Легран гордилась своей фамилией, хотя никакого отношения к знаменитому Мишелю Жану***** не имела. Жила мадам Легран в небольшом городке французского Прованса на берегу Луары. Тихий и малолюдный городок ничем славен не был, даже завалящего замка поблизости не имелось. Но назывался городок красиво: Ле-Шантень. Несмотря на симпатичное название, туристы по большей части объезжали его, стремясь попасть в Сомюр или Амбуаз, в зависимости от того, откуда ехали. Тем не менее, одиночки на арендованных машинах изредка заглядывали и в Ле-Шантень переночевать в гостинице на пять комнат, перекусить. В отельчике своего ресторана не было, вот они и наведывались в заведение Мадам Легран, единственное на много километров вокруг. Но основной доход приносили конечно свои, городские, и те, кто приезжал из таких же городков-крошек, расположенных неподалёку. В основном старики-пенсионеры, очень почтенные, впрочем. Был даже один, совсем мальчишкой воевавший в Алжире, его рассказы все знали наизусть и не могли уже слышать. Зато с жаром обсуждали скачки, футбол, политику, сплетничали о делах городских, не без этого.

В октябре приехал русский мсье Dimitroff, что стало большим событием в закисшей жизни Ле-Шантеня. Русский мсье остановился сначала в гостинице и ежедневно приходил на ланч и обед к мадам Легран. Он очень нравился мадам, она никогда и не подумала бы, что brutальные и крикливые русские, о которых часто рассказывала парижская приятельница, могут быть такими обходительными, вежливыми и по-французски изящными.

Освоившись в Ле-Шантене, он купил давно пустующий дом покойного мсье Дюффе, что дало много пищи для разговоров и даже конспирологических домыслов. Посетители мадам Легран очень удивлялись и до хрипоты спорили, зачем богатому русскому дом в такой глуши.

Пока русский мсье занимался ремонтом и покупал мебель, он продолжал столоваться у мадам Легран. Говорил по-французски безукоризненно, только с едва уловимым акцентом, всё расспрашивал о жизни в провинции. Мадам охотно рассказывала; о городских немногочисленных событиях, о себе, о французских нравах, которые – увы, – сильно испортились со времён её молодости. Так они и подружились; мсье переехал наконец к себе, торжественно пригласил мадам Легран на вечерний чай, специально ради такого случая съездив с утра за сотню километров в Блуа, где в исторической пекарне мсье Шало изготавливали пироги по старинным рецептам времен Жанны д'Арк. А когда попили чай, играл на большом белом “Стенвее” печальные мелодии, напоминавшие мадам Легран о молодости, кавалерах, тогда почтительных, говоривших на понятном языке и не грубых, как нынешняя молодёжь.

Когда новоиспечённый русский приятель зажил свои домом, мадам Легран ни разу не видела, чтобы к нему приезжали гости, хотя жила почти рядом и всегда хотела быть в курсе всего. По утрам мсье бегал по дорожкам сада, днём что-то писал в большой и толстой тетради, а вечером играл свои печальные мелодии. Каждый месяц он уезжал куда-то ровно на неделю, а когда возвращался, весь вечер просиживал у мадам Легран, был грустен, неразговорчив, пил очень много белого вина, не закусывая его даже сыром или фруктами. Уходил пьяненький, покачиваясь и улыбаясь потерянно и будто бы с недоумением. Утром же был бодр, бегал, а в послеобеденный час садился за рояль. Мадам Легран специально старалась сделать все неотложные дела в своём заведении, чтобы поручить посетителей официанту Франсуа, а самой сесть в кресло на втором этаже в спальне и насладиться музыкой, прекрасно слышной из дома напротив, где жил её русский друг. Потому что по приезду мсье всегда играл что-нибудь новое; мадам подозревала, что ему лучше сочиняется в поездах или в автомобиле, если такое возможно. Потом

мелодии приедались, и мадам Легран терпеливо ждала следующего месяца, когда мсье привезёт новые.

Я очень старался порадовать симпатичную мне мадам Легран чем-нибудь свежим, но получалось не всегда. Композиторы все сплошь богема, они капризны, истеричны или угрюмы, даже если умерли век, а то и два назад. Иногда приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы получить от них что-нибудь, некоторые норовят подсунуть какую-нибудь халтуру из неудавшегося и давно заброшенного, но бывает и так, что везёт и я горжусь своим везением.

Но что Аманда, спросите вы. Я регулярно получаю письма от неё в старинных конвертах без обратного адреса. Она пишет, что слышала каждую добытую мною мелодию, некоторыми даже гордиться, не сомневается, что они займут должное место в мировой музыке. Последнее время пишет и о том, что была бы рада встретиться со мной, поговорить, что для меня имеется другая, более интересная работа. Но её обещания остаются лишь обещаниями, я знаю, что она лишь мечтает и не обижаюсь, потому что был предупреждён. Кроме того, меня всё устраивает. Тем более что летом должна приехать дочка мадам Легран. Я видел её один раз сразу после моего приезда в Ле-Шантень. Тогда Жанна произвела на меня очень благоприятное впечатление и внешностью и глубиной суждений, – она учиться в парижской консерватории по классу рояля и на восемь лет моложе меня. Кажется, я тоже понравился ей, теперь вот жду, а пока она тоже пишет мне, правда, на e-мэйл. И её письма полны тщательно завёрнутой в некоторую высокопарность слов, нежности. Прав был великий Тициан, – любовь земная и любовь небесная существуют. Это конечно, аллегория, которую до сих пор не сумели объяснить, думаю, именно из-за того, что всё очень перепутано, и каждый выстраивает свою любовь так, как хочет. Мне

редкостно повезло: у меня есть и небесная, и земная. Я надеюсь, что через какое-то время они соединятся в одну, тогда я буду совершенно счастлив и, наверное, обрету бессмертие, – сам стану нерождённой музыкой. Если, конечно, не встречу на окраине Парижа или в Ле-Шантене у цветочного магазина мадмуазель Пикар ещё одну нищенку, говорящую по-русски...

**** Немецкий композитор, дирижёр, музыкальный теоретик

***** Должно продолжаться (англ.)

***** Мишель Жан Легран (род.1932) – знаменитый французский композитор, автор инструментальной музыки

Сентябрь 2012 – май 2015

Андрей Оболенский – коренной москвич. Врач-педиатр, имеет большую и давнюю частную практику.

Намеревается оставить медицину и посвятить себя литературной деятельности. В одном из московских издательств в текущем году выходит книга его прозы.

Публиковался в различных литературных журналах и в интернет-изданиях. Его рассказы вошли в шорт-лист последнего Волошинского конкурса.

Впервые опубликовался в нашем журнале в номере 1(33) за этот год рассказом “ Боги старухи Фонкац”.

ГАЛИНА КЛИМОВА

К Бунину в Грасе

Изношено небо до чёрных дыр,
до чёрных ягод горько дозрели оливы.
Чтоб вернуться к себе счастливым,
ступай, как дождь, по адресу:
Грас, «Бельведер».

Иди-ищи эту будто бы *виллу*
на рогах, на куличках –
пропащий день!
Не там ли вымахала через силу
русской ели колючая тень?
Игольчатый воздух цепляет за кромку лета:
и разговоры все о конце света
или конце слова...
Который из них скорей?

Ни антоновских яблок,
ни тёмных аллей –
пусто в парке принцессы Полины,
по-кошачьи кричали павлины,
и молчал соловей –
не из глины.

Про чёрный день
– всех затмений итог –
и скарб мой, и снедь, и снасти:
и дудка мечты, и сомнений свисток,
незрячего зеркальца зряшный восторг,
монетка карманного счастья
да корка терпения.
Только не факт,
что жизнь продлевает со мною контракт,

то в кости играя, то в страсти,
в живые картины участья.

Пломбир на морозе,
а в горле — люголь,
и ложками, ложками: боль + любовь...

Разлуки несладкая долька.

Вот – в паспорте фото зелёной тоски,
к нему подголоски и все голоски,
так чисто кричавшие: *горько!*
Вот – письма в бутылках
и в окнах – сирень,
вот – камешком белым отмеченный день.

Сиротствовать пока ещё во снах,
срываясь камнем с гор
и облаком обласкивая горы,
в несоразмерных сердцу временах
плести свои безумные глаголы.
Свой птичий след, дитя своё и отчество
оставить – как? – на памяти других...
И мелким почерком, невнятно, от руки –
жизнь в круглых скобках одиночества...
Хранить гордыни золотой запас
и окормляться нищенской слезою
с бесчеловечного уже лица
морей и суши эры кайнозоя,
где жил
любовью уязвленный аз...

Я научилась рисовать птичий лес
и звериный дым из трубы,
зачеркнувший столько чистых небес,
мне обещанных за труды.

Я находила, что четыре стены
за четыре времени года
мою беглую мысль: *на свободу!*
заточили бы, как чувство вины.

Простиралась простором дверь,
останавливая сердца.
– Кто зовёт меня скрипкой скворца?
– Скрипка смерти, молчи теперь!

Ю.К.

Харонова ладья дала сегодня течь.
На берегу объявят воскресение,
тогда весло – не ремесло и во спасение
дай мне тебя обнять, сиречь – сберечь.

Отныне – жить,
не присно, не потом,
такого здесь ещё не обещали.
Пенаты всей планеты обнищали,
как над рекой без дна
без крыши дом
стоит без нас в надежде и печали.

Друг другу чада мы и домочадцы.
Незванный берег – пуст его причал.
В каких волнах ещё нам повстречаться,
наговориться вволю, намолчатся...
– Так дай тебя обнять в начале всех начал.

*Моему отцу –
Даниелю Федоровичу Златкину*

Не спеши, отец, мы на одной лыжне ,
по лежалому снегу, по целине...
Не угнаться мне, не успеть.
Я отстану... Я стану петь
про курчавый холм
с острова Борнхольм,
где врагам не давая спуска,
лейтенант на пальцах объяснял по-русски,
мол, туго Гамлету в родной стране...

Отец, постой ! Ты ж не на войне !
Я только тень твою вижу в спину.
Кто – маленькой мне – перед сном и во сне
обещал: *я тебя не покину!*

Не маши, не прощайся со снежных гор,
за ветки весну теребя,
скажи лишь у входа в свой Эльсинор,
как мне жить и не жить без тебя.

Перед рассветом –
как перед расстрелом –
меня отчитывает жизнь
в платочке белом.
Приговоренная душа
тесна в исходе.
Меня оплакивает сын
при хороводе.
Обмоет дождь.
Освищет ветер страшно.
Все – за столом,

где брызжет брань и брашно,
и от меня открестятся вчерашней.

Что сетовать?

На всякий день – пропажа,
так не будите ангельскую стражу,
пускай ей снится
перед рассветом:
будто бы я
не семечком, так цветом
однажды
мимопроходящим летом...

Ярославу

Как маленькие дети в жестокой правоте,
слова любви и смерти мы шепчем в темноте.
Но тише в сердце залпы,
а в воздухе – восторг,
всё к смерти клонит запад, и лишь к любви – восток.

От косточки, от праха какая вздрогнет твердь?
Нет выбора без страха.
Одно – любовь и смерть.

*Галина Климова – русская поэтесса и переводчик.
Окончила географо-биологический факультет МГПИ им.
В.И.Ленина, Литинститут (семинар Евг. Винокурова)
(1990). Как поэт дебютировала в 1965 году. Автор
нескольких книг стихов и прозы.*

*В 1998-2008 – организатор и ведущая литературного
салона «Московская Муза». Секретарь Союза писателей
Москвы, член Международного союза журналистов.
Заведует отделом поэзии журнала «Дружба народов».*

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

Прощание со старым годом

Уйдет в неизвестность старый год
нам не принесший провиденья
но может быть
звезда взойдет
и свет прольет на устремленья
души
не связанной тоской
по временам давно минувшим
и снизойдет на мир покой
и честь отдарится уснувшим
и перейденная черта
растает
ни о чем не чая
и приоткроются врата
нам неизвестность обеща

Флаг

Константину

Мой внук рисует украинский флаг.
Он поглощен ответственной задачей,
замазан желтым вышитый обшлаг,
и синим нос немного обозначен.

Нарисовал –
и лист берет другой,
и снова флаг рисует упоенно,
и вот уже закончен голубой,
но рядом с ним соседствует зеленый.

Какой ты флаг, малыш, нарисовал?
Украинский.
Но он другого цвета...
И логикой сражает наповал:

Так ведь сейчас же середина лета!

Я задаю ему вопрос смешной,
бесхитростно и как бы между делом:
каким ты нарисуешь флаг зимой?
И внук серьезно: *голубым и белым.*

Борщ

Я есть хочу
я просто голодна
и борщ варю
украинский фамильный
сегодня мне пригрезилась весна
и свет любви
далекий и бессильный
я свеклу тру на терку
и морковь
рублю капусту
перец и томаты
лавровый лист бросаю под покров
картошки
опьяненной ароматом
нарезанного мелко чеснока
и лука
преисполненного счастья
томящегося в недрах чугунок
и от моей зависящего власти
я всех соединю в один момент
они сольются в жертвенном экстазе
и мне наградой сей эксперимент
внесет в обед восторг разнообразья

Август пятнадцатого
Скайп Вашингтон-Донецк

*Моим младшим братьям,
Михаилу и Сергею*

За окошком стрекочут цикады
не давая спокойно уснуть
на охоту выходит Геката
президентские зреют дебаты
а *крымнаше* безмолвное стадо
загоняется в лживую муть
и покорно спускается в бездну
для надежности очи закрыв
и его не спасти
бесполезно
не дойдет отрезвления призыв

Разве мало России землицы
незатоптанной
вольной
пустой
чтобы жечь у соседа станицы
ради чьих-то бесславных амбиций
обрушая остатки традиций
и погост обрести на постой

... Нам уже никогда не вернуться
в украинский потомственный дом
на рассвете беспечно проснуться
пробежать по росе босиком
и в прохладную броситься речку
озаряему первым лучом ...

Я в Америке с памятью млечной
вы в донецких квартирах со свечкой
за окошком разрывы картечи

а в эфире безумные речи
что Россия вообще ни при чем...

ДИПТИХ «ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА»

Траурный марш

Он был рожден для счастья, для надежд...

М.Ю. Лермонтов

Ты полон был и жизни и надежд
и в будущее целясь устремленно
презрел угрозы купленных невежд
убийство замышлявших потаенно

трагично
что тебе был предпочтен
плешивый карлик с миною утешной
и вся страна под колокольный звон
сошла в Аид объемлюще кромешный

и нет тебя
сокроются во тьму
убийцы избежавши правосудья
и тень татар отрезанных в Крыму
падет на русских гнетом многопудья

... а люди шли
под тяжестью цветов
прогнулся мост и пошатнулись фермы
как будто воскресеньем первым пост
смывал умы опутавшие скверны

и плакал день
накупившись небо
не пропускало солнца вешний луч
и от земли отторгнутая нега
укрылась в черной занавеси туч

Сороковой день

Борис – борись
душа жива
твоя – на небе пребывая
ты утвердил свои права
на жизнь – к которой призываю

сегодня ты покинул нас
ушел в невидимые сферы
но не умрет надежды глас
и зов любви
и лепет веры

и в этот день сороковой
когда душа твоя в полете
ты снова сбудешься – живой
где вы – живые – не живете

Не спит душа
неуязвима
постыдной лестью подлеца
и Бог касается незримо
осолоненного лица
и слезы катятся открыто
не прерываясь
не таясь
страны разбитое корыто
покорно всасывает грязь
и ангела седые перья
состарясь в непроглядной мгле
спадают с крыльев от неверья
исправить что-то на земле

Ущербны строки
их страданья
запечатлеть не суждено
звезда над крышей мирозданья
глядит в отверзтое окно
и бессловесные признанья
как бестелесные касанья
поглотят вышние желанья
которым сбыться не дано

Марина Тюрина-Оберландер, филолог, поэт и переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвовода. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались, начиная с 1976 года, в "Литературной газете", журналах "Иностранная литература", "Весь свет", "Крокодил", альманахе "Поэзия" (изд-во "Молодая гвардия"), антологиях "Современная датская поэзия", "Современная норвежская поэзия" (изд-во "Радуга"). Оригинальная поэзия печатается с 2008 года. Книга "На остром рубеже пространства" ("Водолей Publishers", 2008 г.), публикации в журнале "Большой Вашингтон" (2009-2010 гг.).

Недавно у Марины Тюриной-Оберландер в московском издательстве "Водолей" вышла новая книга поэзии и прозы "Музыка слов".

ДАВИД ГАЙ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Фрагменты романа

“Исчезновение” – новый роман автора, своеобразный “ремейк” его предыдущего произведения “Террариум”, который несколько лет назад вышел в США на русском и английском языках.

В центре “Исчезновения” – судьба Двойника президента России, который обладает феноменальным сходством с оригиналом и потрясающим талантом абсолютно точно его копировать. Время действия – вторая половина 2023 и самое начало 2024 г.г.

Важная особенность текста в том, что через восприятие Двойником на протяжении ряда лет действий и поступков Путина (он назван Верховным Властелином – ВВ) перед читателями предстает образ российского лидера в целокупности его взглядов, фобий, искривленных представлений о своей стране и мире.

Реминисценции дают возможность проследить тайное, тщательно скрываемое, связанное с преступлениями и гибелью людей.

В романе, по сути, два главных героя – Двойник (Яков Петрович) и ВВ.

По ходу развития острого детективного сюжета Двойник становится главой государства, а далее – неожиданная развязка...

Но до этого он проходит сложную внутреннюю эволюцию – от уважения ВВ и отчасти преклонения перед ним до отрицания того, что тот совершил за время властвования.

Роман только что увидел свет в США и в Украине.

1

На Валдайской даче произошло то, о чем предупреждал куратор Олег Атеистович: с Двойником захочет познакомиться Сам. Начинался второй год пребывания Якова Петровича в новой для него роли, а личное знакомство откладывалось. Состоялось оно в ставшие уже привычными короткие четырехдневные, вместо прежних разгульных десятидневных, новогодние каникулы 2019-го.

ВВ, переизбранный на должность вождя уже в первом туре голосования, продолжая по завету святого Франциска мотыжить свою землю, прилетел сюда с друзьями и охраной на трех вертолетах, в одном находился Двойник.

У этого места на трассе между двумя главными городами страны, в полутора десятках километров от города Валдая, имелась своя история. Нет ничего, пожалуй, более прекрасного, чем Валдайская возвышенность – отсюда из маленького ключа начинается свой путь великая река, здесь же истоки других больших и малых рек, сотни озер, тысячи родников, по сути, возвышенность – основной источник пресной воды в России – под землей огромная сеть водоносных пещер. На треугольном полуострове, омываемом с двух сторон водами озера Узкое, входящего в систему Валдайских озер, и расположена Резиденция – вокруг полсотни гектаров векового могучего соснового и елового леса, в кронах которого всегда шумит ветер, и колдовское озеро, в котором удивительно прозрачная вода, метра на три видно и песчаное дно, и плавающие рыбки, и над которым почти не бывает ветра, поскольку оно узкое, отсюда и его название, да к тому же окружено высокими холмами, покрытыми лесом, так что ветру здесь просто негде разгуляться.

Дачу, перестроенную по желанию ВВ, именуют местным именем “Долгие Бороды” или “Ужин”, почему так зовется, никто толком не знает, назвали и назвали. Помимо единственной дороги, к Резиденции можно добраться по наплавному понтонному мосту через озеро. Когда-то

поблизости находилась дача тогдашнего Властелина, одноэтажный особняк был построен в 1938 году как путевой дворец между двумя главными городами страны, метростроевцы были привезены из столицы, работы вели и под землей – сооружали бункер, предполагалось, что здесь можно будет укрываться во время войны. Властелин был здесь лишь один раз и, изучив карту местности, не на шутку испугался: узкий полуостров, к даче ведет всего одна дорога, кругом темный лес; он обошел территорию, вернулся к машине хмурый и укатил, бросив напоследок зловеще-шелестящее: “*Ловушка*”...

Заезжие бизнесмены предпочитают снимать эту дачу, которая находится на возвышенности аккурат напротив Резиденции “Долгие Бороды” – на противоположном берегу озера. Чтобы поселиться, нужно пройти фейс-контроль охраны ВВ. Двойнику рассказывали: на даче четыре люкса, самый престижный – четырехкомнатный, с сохранившейся спальней Властелина. Существует поверье: если там зачать ребенка, он станет главой государства, и постояльцы стараются без устали – многие однако приезжают без жен, а девушек, тоже прошедших фейс-контроль, можно заказать заранее, по их словам, прошлое особняка и полутемные залы действуют на мужчин возбуждающе.

Полуостров окружен выкрашенным в зеленое металлическим забором, по которому в дни присутствия ВВ пускают ток, за забором – ров, за рвом прячутся люди в штатском с оружием и рациями, по всему периметру полуострова ведется круглосуточное видеонаблюдение, дорога к Резиденции с суши приводит прямо на контрольно-пропускной пункт, за ним – шесть километров охранного комплекса; и с воды никому из чужих тоже не подобраться – залив, где ВВП загорает и купается, перегорожен чередой понтонов, в понтонах потайные двери, оттуда Сам, будучи помоложе, вылетал на скутере в

одних плавках, а по бокам, на двух скутерах, телохранители в бронезилетах.

“Долгие Бороды”, а также дачу никогда не жившего на ней прежнего Властелина, поскольку “ловушка”, обслуживает целый поселок, две тысячи местных жителей: сначала – жесткая проверка их самих и всех родственников на благонадежность, потом они подписывают формы допуска к государственной тайне, после чего не имеют права ездить за рубеж, их телефоны прослушиваются, а письма читаются, и коль что не так – уголовная ответственность за измену родине.

ВВ, по словам куратора, любил бывать здесь в любое время года, не только летом; в помпезном помещении с мраморными лестницами и античными колоннами он принимал гостей и официальные делегации, но ночевал не здесь, а в ничем не примечательном коттедже неподалеку, двухэтажном, из красного кирпича – на такой системе безопасности настояла охрана.

За проведенные возле ВВ годы Двойник многожды наблюдал его, редко близко от себя, чаще на удалении – во время посадок в бронированные лимузины и винтокрылы и покидания их салонов; на территории Резиденций; совсем редко – в кремлевском коридоре и приемной рабочего кабинета в 14-й корпусе, между Спасскими воротами и Сенатским дворцом; в Константиновском дворце в Питере; но лишь один раз тот удостоил его вниманием, пригласив на разговор. Это была проверка, понятное и естественное желание своими глазами взглянуть, чего же стоит этот самый Двойник, о котором ему уши прожужжали, насколько безупречно может сыграть роль ВВ. И произошло это на Валдайской даче. Яков Петрович прождал вызова почти весь день. Он гулял, несмотря на мокрядь, заасфальтированными лесными аллеями, стояла ростепель, снега не было, новый год не походил на себя, природа будто ошиблась с календарными

сроками наступления холодов, а звонка на мобильный все не было.

Если не лукавить, не врать себе, этой встречи Двойник боялся до дрожи в поджилках, представлял себя на допросе у умного, хитрого, проницательного следователя: тот ли ты, за кого себя выдаешь, на самом деле обладаешь уникальными способностями или дуришь голову... смотри, коли обманываешь... И невольно юркой змейкой с ядовитой слюной заползал неизбежный вопрос: а вообще, как относишься к ВВ, благоговеешь перед ним, считаешь его мудрым и непогрешимым, или извечный скепсис мешает осознать его величие? Скепсиса в Якове Петровиче не наблюдалось, так, самая малость, но и благоговения он никогда не испытывал перед вождем, как выяснилось, ниспосланным стране Богом. Поначалу поражала его речь, четкая и ясная, смысл и логика построения фраз, находчивость в ответах, мастерство внезапных сопоставлений, хотя не обходилось без проколов типа “она утонула” – о подлодке “Курск”, и даже коронные обороты типа “жевать сопли”, “мочить в сортире” и про половые признаки бабушки и дедушки пришлись по душе Якову Петровичу: нормальный мужик, за словом в карман не лезет... Постепенно привык, как и прочие, ко всему, что связывалось с образом лидера нации, вместе с другими беззлобно посмеивался над амфорами, случайно найденными Самим на большой глубине, над полетом со стерхами и прочими причудами, при этом отдавая должное силе и уверенности лидера, крепнувшими с каждым годом. Но все последующее, повернувшее страну задом к дальним соседям и напугавшее ближних, ненависть к пиндосам и война с “укропами”, очевидная всем и внаглую отрицаемая, бесконечное и бессмысленное вранье по “ящику”, упавший рубль, подскочившие цены, запреты на то, что вчера разрешалось, сознательное бегство тех, кто мог стать оплотом страны, и еще многое-многое другое вызывали в Якове Петровиче глухое отторжение, особенно

после горячих дискуссий с дочерью; однако он, подобно другим, жил как бы сам по себе, тихо и молча: меня не трогают и ладно, а что до патриотизма, то никто пока не заставляет публично его демонстрировать, а есть он во мне, этот патриотизм, или нет его, так сие не ваше собачье дело.

Так было до момента, когда обстоятельства сделали его Двойником и ему открылось то, чего он не мог знать ранее, а если и догадывался, то скорее по наитию; это новое знание и понимание обременяло, заставляло иначе оценивать происходящее, он боялся себе в этом признаться, гнал непрошенные стремные мысли. В этом смысле он становился истинно Двойником – ВВ и самого себя.

И еще одно, тоже непрошенное и еще более опасное, тешило тщеславие: я уже в состоянии делать, выполнять, говорить все то, что и ВВ, уже не будучи его отражателем, к чему может привести, не знаю, внутри холодеет и замирает, едва задумываюсь, что меня ждет...

Куратор позвонил ближе к вечеру. В специальной комнате Якова Петровича переодели, куратор отверг строгий темный костюм, белую сорочку и галстук (“Вы, Яков Петрович, не на официальный прием собрались, а на приватную встречу на даче, поэтому наденьте вот это...”), и он протянул вельветовые брюки цвета кофе с молоком, ковбойку и серую просторную шерстяную кофту. “Нормально”, – подытожил, придирчиво оглядев экипировку Двойника.

Они остались вдвоем, Олег Атеистович пояснил:

– ВВ отдохнуть сюда приехал с тремя друзьями. Перед обедом попарились, после обеда в казино сыграли, притом по-серьезному, на собственные деньги, чтобы азарт и кайф словить, потом биллиард. В общем, расслабуха, а вы своим галстуком тоску нагоните, напомните о трудах

праведных, которые ВВ на денек оставил. Нет уж, предстаньте пред его очи в партикулярном одеянии.

... В просторную прохладную комнату с глухими задрапированными окнами, зажженным изразцовым камином и журнальным столиком с двумя глубокими креслами возле дивана вошел тот, кого уже больше года он изображал; Яков Петрович напрягся, как ни готовил себя к встрече, не смог одолеть волнение и скованность.

ВВ был одет в такие же вельветовые брюки и кофту, только рубашка была однотонная, темно-серая, на ногах кроссовки, в отличие от Двойника, обутого в черные строгие туфли. Обменялись рукопожатиями, ВВ занял место на диване, Двойнику жестом указал на кресло. В итоге ВВ возвышался на целую голову.

Мгновение, показавшееся Якову Петровичу вечностью, ВВ немигающе всматривался в него (с кем мог он сравниться по степени страха, вызываемого в людях одним своим не улыбочивым видом, пристальным, немерцающим, неотрывным взглядом выцветающих с возрастом глаз-плошек: сколько раз репетировал Яков Петрович один на один с зеркалом этот немигающий, как свет фонарного столба, взгляд!). Он автоматически ответил таким же испытующим взглядом – по-другому не смог. Так они и буравили друг друга, один на правах Властелина, другой – копируя, словно боксеры-профи перед началом поединка, сходясь лицом к лицу, пытаясь испугать, посеять неуверенность в сопернике.

– Кто же вас, любезный Яков Петрович, так экипировал?
– спросил, наконец, ВВ.

– Мой куратор.

– Узнаю Атеистовича. Нарочно сделал, для большего эффекта, мою одежду на отдыхе знает, помнит... Я за вами часто наблюдаю, вы меня не видите, а я вас вижу. Невероятное сходство... Это ж надо, природа распорядилась... А ботокс, блефаропластику используете?

– Так точно, использую, – отпарентовал.

– Да вы расслабьтесь, не надо по-военному. Мы же отдыхаем, просто беседуем, я не ваш начальник, а просто... ваша копия, или вы – моя, – и складки рта дернулись в намеке на улыбку. – Ну и как, болезненно?

– Пару раз уколы делали и веки подтягивали. Ничего, терпимо.

– У меня по-всякому бывает. Однажды, лет десять назад, нет, больше, в Киев на важную встречу прилетел, а у меня синяк на скуле от укола выступил. Пресс-конференцию пришлось отменять, негоже лидеру с синяком перед прессой. Еще подумают, жена побила... Да, Украина... Много мне нервов и крови стоила... Я, знаете, не привык жалеть о прошлом, но все же корю себя: надо было тогда, в четырнадцатом, ударить как следует, захватить несколько областей помимо Донбасса, дойти до Киева, и черт с ними, с санкциями, зато по-другому сейчас все выглядело бы... Сильнейший всегда находит справедливым то, что слабый считает несправедливым... Меня деспотом называют за рубежом. Убежден: не существует ни одного живущего человека, которому не захотелось бы сыграть деспота, если он обладает твердым характером. А вы что думаете по этому поводу?

– Точно так же, – не придумав более развернутого ответа, да и не нужно было.

– Ну и хорошо. Единство взглядов. Убеди других довериться тебе – и ты победил. Самый мощный афродизиак – власть над другими... А теперь повторяйте за мной..., – внезапно ВВ поменял ход разговора. – Посмотрим, как скопируете меня... Итак, начнем. *Ничто так не воодушевляет, как первое безнаказанное преступление...*

Яков Петрович опешил, слегка даже растерялся от смысла произнесенного, однако вида не подал и незамедлительно исполнил приказ. Почувствовал, что передал интонацию абсолютно верно, лучше, чем на тренировках у зеркала, на нервной почве, что ли...

ВВ продолжил экзамен, выстреливая разнобойными по смыслу фразами почти без пауз:

– У России нет другого пути, кроме выбранного Россией. Если кто-то не хочет разговаривать с нами на равных – пусть не разговаривает, мы сами с ним будем разговаривать на равных... Некоторым супердержавам, которые претендуют на исключительность, считают себя единственным центром силы в мире, им союзники не нужны, им вассалы нужны. Я имею в виду США. Россия в такой системе отношений существовать не может... Давить на Россию с помощью жестких мер бесполезно и бессмысленно... Мы такая страна, которая ничего не боится... Полная изоляция ни к чему хорошему привести не может. Не забывайте – у нас ядерное оружие имеется... Наша родина, возможно, больна, но от кровати матери не уезжают... Ну, знаете, если все время говорить о том, что все падает, то ничего никогда и не поднимется...

В следующей фразе Двойник запутался, пришлось ВВ повторить ее дважды:

– Возможно, нашему Мишке нужно посидеть спокойно, не гонять поросят и подвинков по тайге, а питаться ягодками и медком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что всегда будут стремиться, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся – вырвать и зубы и когти. В сегодняшнем понимании это – силы ядерного сдерживания. Как только это, не дай Бог, случится, то и мишка не нужным станет, чучело из него сделают и все...

Яков Петрович воспроизвел, ВВ слегка наклонил голову и прикоснулся передним и указательным пальцами левой руки к ушной раковине – вероятно, чтобы лучше слышать. Он сделал перерыв на несколько секунд, Двойник произвольно глубоко вздохнул, от ВВ не укрылось, ободряюще кивнул и вроде даже подмигнул – не дрейфь, парень – и продолжил проверку таким же

долгим, развернутым фрагментом когда-то им произнесенного, но уже совсем о другом:

– Самое главное для политика – быть порядочным и честным человеком... Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать вместе, то нас ждёт успех и в отношениях между собой, в отношениях между государствами. Но самое главное, что мы добьёмся таким образом комфорта в своём собственном сердце...

– И вот еще несколько предложений, повторите для услады слуха. Я медленно буду диктовать, с остановками, а вы произносите не механически, а вникайте в сказанное – не мной, а великим умом и патриотом Ильиным. Не хочу текст замечательный исказить, у меня выписка имеется, – и он достал из кармана куртки сложенный вчетверо листок. – Слушайте и внимайте... *“Мировая закулиса, решившая расчленивть Россию, отступит от своего решения только тогда, когда ее планы потерпят полное крушение... Они собираются разделить всеединый российский “веник” на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнувший огонь своей цивилизации. Им надо расчленивть Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее: план ненависти и властолюбия. ...Чтобы вообразить Россию в состоянии этого длительного безумия, достаточно представить судьбу “Самостийной Украины”... Россия есть величина, которую никто не осилит, на которой все перессорятся...”*

Яков Петрович повторял, не вдумываясь в содержание, о чем просил собеседник, внимание сосредоточено было на другом – добиться стопроцентной верности модуляциям голоса ВВ, читавшего текст трепетно и почти нараспев, как молитву.

Экзамен завершился, Двойник прокашлялся, произвольно провел вспотевшими ладонями по обивке кресла, ВВ подвел итог:

– Вы и впрямь огромный талант. Смотрю на вас и вижу себя, совершенно такого, каким есть, вроде как два экземпляра. Но учтите, я в полном порядке, сдаваться возрасту не собираюсь, так что заменять меня, надеюсь, еще долго не придется. Тем не менее, совершенствуйте свое умение, шлифуйте свой дар, наверняка пригодится... когда-нибудь...

ВВ положил ногу на ногу, укрыл тяжелой мужицкой ладонью колено и взглянул вприщур, теплота взгляда в долю секунды сменилась недоверчивостью и отчуждением, словно буравчик ввинчивался, трансформируясь в новый для Якова Петровича образ, дотоле не мелькавший на телеэкранах.

– А вы опасный тип, с вами надо настороже, постоянно бдеть, что там в вашем котелке варится, – и он постучал себя по лысеющему черепу. – Неровен час – и замените меня на посту, никто и не чухнется, что царя подменили, – и вдруг захохотал отрывисто-лающе; ни в одной записи для тренировок Яков Петрович не слышал смеха ВВ, теперь понял, почему – он, смех этот, напоминал шакалий вой, не зря сравнивают – как шакал смеется, такие утробные звериные звуки военный повар Яков впервые услышал в Афгане, возле Джелалабада, где голодных шакалов обитала уйма.

Двойник поддержал ВВ, изобразив застенчивый опасливый смешок в полтона, будто над шуткой, но по остекленевшим, рыбьим зрачкам сидевшего напротив понял, что тот не шутит.

Отсмеявшись, ВВ принял прежнее участливо-внимательное выражение лица.

– Вы кто, жаворонок или сова? Хочу знать, насколько на меня похожи и в чем.

– Я рано встаю и ложиться стараюсь не поздно.

– Хм., тут мы антиподы, я ближе к полудню просыпаюсь, а ложусь в час-два ночи. Утром плаваю, на тренажерах мышцы укрепляю. А вы со спортом дружите? Правильно, молодец... На ночь не читаю, другими делами занимаюсь; что касается прессы, вообще, не читаю и знаете, почему? Чтобы никакие журналисты не влияли на мое мнение, а также следую совету профессора Преображенского, притом не только перед обедом... Друг мой Берлускони как-то рассказывал: в свое время Тэтчер посоветовала распорядиться, чтобы ему приносили только те газеты, в которых есть что-то положительное о главе правительства, его работе и всего кабинета. В результате не получал он от своего пресс-атташе газеты на протяжении пары месяцев, после чего подобную практику Сильвио прекратил и вернулся к прочтению всех газет. Ну, а мне справку ежедневно пресс-служба готовит, что там пишут о стране и обо мне, я в полглаза смотрю...

Да, Тэтчер... Знаете, Яков Петрович, как она меня вздрючила? – взор ВВ покрылся мечтательной поволокой. – В 90-е дело происходило, мы с мэром деловую поездку осуществляли по Европе, “Железная леди” утром неожиданно в отель к нам нагрянула, увидела в номере следы вечернего загула – бутерброды недоеденные, пивные бутылки пустые – и говорит строго: убираться надо, господа... Были люди, не чета нынешним, на Западе правящим. Знаете, в чем разница между мной и американским президентом? Я много лет правлю, разные эксперименты, реформы там всякие могу проводить или не проводить – у меня время на это было и есть, а у американского президента всего четыре года или восемь, а кругом бюрократы, в Конгрессе нет единства, это не наша Дума, поневоле станешь конформистом...

Напряжение начинало отступать, как давление у гипертоника после приема таблетки – Яков Петрович успокоился.

– Вам имя такое знакомо – Сунь-Цзы, нет? я так и думал, его никто не знает, а я знаю, изучил его труды, использую на практике. Мудрый китаец... “Если вы сильнее вдесятеро, вы можете не обращать внимания на оппозицию. Если вы сильнее впятеро, атакуйте своих противников. Если вы сильнее вдвое, поссорьте противников. Если ваши силы примерно равны, старайтесь не рисковать. Если противник сильнее вас, избегайте столкновения с ним. Если же вы много слабее, старайтесь опередить противника”. Или вот это (шпарил по памяти, как по-написанному): ”Для того чтобы побеждать, вы должны занимать выигрышные позиции. Вы должны доводить атаку до конца и уходить невредимым. Для этого вы должны владеть даром предвидения. Вы можете обрести его. Ни демоны, ни духи вам не помогут. Профессиональный опыт здесь также не при чем. Вам не поможет и анализ. Единственный источник надежных сведений – другие люди. Благодаря им вы будете знать о том, что происходит в стане врага...” А вот интересная мысль – будто из инструкции моего родного ведомства: “Вы можете использовать пять типов агентов. Вам нужны локальные агенты. Вам нужны глубинные агенты. Вам нужны двойные агенты. Вам нужны обреченные агенты. Вам нужны неуязвимые агенты. Вам нужны агенты всех пяти видов. При этом методы их использования вам следует держать при себе. В этом случае вы сможете составить ясную картину происходящего”.

Воодушевившись, ВВ продолжил сыпать цитатами, а может, свое заветное, личное высказывал (Двойник не мог отличить одно от другого, в этот момент он чувствовал, что совершенно не занимает мысли Властителя, словно лишний): количество путей, ведущих к победе, бесконечно... не сдавать позиции, ни в чем не уступать, мелочи не в счет, побеждает не обязательно правое дело – но дело, за которое лучше боролись, вы можете быть намного сильнее, но проиграть, если у вас нет воли к

победе – это как в спорте; главное – быть вожаком: стая львов, возглавляемая овцой, может проиграть стаду овец, возглавляемому львом; победителя никто не спросит, правду он говорил или нет; великих судит только история, хотя она и ветреная девка...

– А вообще, Яков Петрович, – вспомнил о сидящем напротив, – нет на свете ничего совершенно ошибочного, даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время; я спрошу: какие часы показывают более точное время – те, которые стоят, или те, что отстают на минуту? Часы, которые стоят, показывают дважды в сутки абсолютно точное время, а которые идут, слегка отставая, показывают точное время один раз в два года...

– Читаете беллетристику, исторические книжки? – ВВ продолжил вопросы. – Должны быть эрудированным, грамотным, походить на меня во всем, не только внешне или там голосом похожим – ведь люди рано или поздно сравнивать начнут. Ошибаться нельзя... Я давеча Ильина упомянул... Вы его читали? Жаль... Попросите Атеистовича, он найдет книги. Ильин – великий мыслитель, многое понял, предугадал в устройстве русской жизни, ненавидел большевиков, приветствовал белое движение, неоднократно арестовывался, был выслан Лениным на “философском пароходе” в Европу, преподавал в Германии, после 33-го, увидев, что Гитлер собой представляет, с помощью Рахманинова и на его деньги переехал в Швейцарию... Мы его прах перезахоронили в Москве, архив выкупили в Америке и привезли в Россию... Но главное – что он писал, мысли его на сердце мне легли, я себя ругал – как же я прежде ничего о нем не знал... В своем Послании народу еще пятнадцать лет назад его мысли использовал. Прочтите обязательно Ильина, это необходимо, коль вы – мой Двойник. “Русский народ имел царя, но разучился его иметь”, – пишет Ильин. Он считает, что в России возможны или единовластие, или хаос, к республиканскому строю народ неспособен. Разве

он не прав?! “Быть русским значит не только говорить по-русски. Но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовь ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие...”
Своеобразие... А нас к хваленой западной демократии тянут, где ничего хорошего, а что было хорошего, то утрачено безвозвратно. Нужна она нам, как собаке пятая нога, у нас своя демократия есть, *российская*...

Яков Петрович слушал взволнованный монолог слегка ошеломленный, осознавая, как еще мало знает и как важно ликвидировать изъян; входя осторожно, застенчиво, на цыпочках в пространство, прямиком ведущее к ВВ, он должен соответствовать своей миссии, проникаться мыслями вождя, иначе навсегда останется белой вороной, в сущности, прислугой, а он желает много большего...

Но не так все безнадежно: едва визави, возвышавшийся на диване, завел речь о романе Михаила Юрьева, который стал его настольной книгой, Двойник с неподобающей моменту радостью, громче того, как надлежит говорить с ВВ, возгласил: знает, читал! Куратор принес и обмолвился: любимая книга Самого, проштудируйте и сделайте выписки, чтоб при случае щегольнуть знанием. Аккурат накануне прилета на валдайскую дачу Яков Петрович освежил в памяти содержание романа. И вот случай представился.

– И о чем же это произведение? – слегка недоверчиво, словно не поверив, спросил ВВ.

Яков Петрович поведал: называется роман “Третья империя” и рассказывает о будущем: 2053 год, мир поделен между четырьмя огромными сверхдержавами: Российской Империей, Американской Федерацией, Исламским Халифатом и Поднебесной. Между прочим, автор прогноз составил о будущих событиях в Украине: парламентский кризис, после которого 80 тысяч российских добровольцев заняли ее восточные земли и дошли до западных границ, в результате чего Львов

прекратил существование. А ведь книга издана... году в 2008-м. (“В 2006-м”, – уточнил ВВ).

– Девять областей, включая Донецкую, Луганскую и Крым, объявили о непризнании украинской власти и вообще украинской государственности и о провозглашении Донецко-Черноморской республики, – шпарил Двойник по заложенному. – Сместили представителей центральной власти, выдвинули своих руководителей и объявили о референдуме по выходу из Украины и вхождении в Россию. Когда местные власти приказали всем дислоцированным на востоке и юге войскам выступить против мятежников, выяснилось, что большинство их уже перешли на сторону восставших (как и значительная часть полиции и спецслужб). Остальные не захотели вступать в бой и частью выехали без оружия из зоны восстания, частью были блокированы на своих военных базах...

– А потом, по фантазии автора, новая империя захватит все европейские земли, включая Гренландию, – вклинился в рассказ ВВ. – Дольше всех сопротивляется Туманный Альбион, но сопротивление подавлено ядерными боеголовками. Но это уже – сказки...

– По воле автора будут арестованы 150 крупных государственных чиновников, действующих и бывших, а также олигархов, – с воодушевлением демонстрировал свою память Двойник. – Последние будут окончательно изгнаны из страны, а весь частный крупный бизнес – национализирован. Впереди – официальное разделение новой России на сословия, где правом голоса обладают лишь сословие опричников, они и только они являются носителями избирательного права. Первым царем новой России станет “Владимир Собиратель”.

– Многое угадал Миша Юрьев, – заметил ВВ, – только с девятью областями желаемое за действительное выдал. Не получилось... А жаль... Талантливый парень Миша, окончил школу в 14 лет, в 19 – биофак МГУ, ушел в

предприниматели, преуспел, высокие позиции занимал, политикой занимался, до вице-спикера Думы добрался.

– Извините.., можно мнение свое высказать? – осмелел Яков Петрович и получил утвердительный кивок: – Этот Юрьев на словах государственный, родину любит, патриот, а бизнес делает в Америке, сланцевый газ толкает вперед, то есть объективно против нас работает. Говорит, что деньги в России делать неудобно, а в Штатах, выходит, удобно. И еще советы лично вам дает: дескать, продайте ”Газпром”, продайте ”Роснефть” тем же американцам, заодно будет почва с ними подружиться, выяснится сразу, что ВВ самый большой демократ в мире, его просто неправильно понимали. Продайте – за хорошие деньги продайте, пока они что-то стоят, они скоро ничего стоить не будут. Вот я и говорю – прохиндей.

Произнес тираду и понял: не стоило разрушать образ – как-никак настольная книга... ВВ нахмурился, делал это он не бровями, а едва уловимым посылком губ. Сказал после паузы: не стоит судить о человеке по его откровениям в прессе, может, он нарочно эпатирует; Мишу он знает лично и верит ему, бизнесом на Западе занимаются многие русские, России это не идет во вред.

– Лучше скажите, вы стихи любите? – показал исчерпанность темы Юрьева. – Нет? Я тоже, никаких поэтов не читаю, кроме Омара Хайяма, красивые у него, мудрые рубаи – так и должен настоящий мужчина жить: вино, женщины, веселье, а тут всякой ерундой приходится заниматься, авгиевы конюшни разгрести. Например, такие строчки: “Поменьше в наши дни имей друзей, простак, будь на признанья скуп, не слушай льстивых врак...”. Между прочим, Андропов стишатами баловался, чекист, а вирши кропал, иногда с матерком, ну, это простительно, я и сам грешен, хотя какой же грех, без ненормативной лексики нет нашего великого и могучего. “Молва идет среди народа, что всех людей вмиг портит власть. И все ж опаснее напасть, что чаще люди портят

власть”. Замечательный афоризм, не находите? Прав Юрий Владимирович, ох как прав...

ВВ задумался, встал, подошел к камину, пошуровал щипцами, прогорающие поленья легли рядком, угли просыпались яркими искрами, он снял куртку, небрежно бросил на диван и снова сел напротив, вновь став на голову выше Двойника, утопавшего в кресле.

– У нас с вами, любезный Яков Петрович, приватная беседа, не для чужих ушей, надеюсь, вы как офицер ФСБ понимаете, что бывает за утечку, разглашение... Так вот, какая, по вашему мнению, главная задача, цель правителя?

– Благо народа.

– Ответ правильный. Если для прессы, для общественности. А если с самим собой разговариваешь, без утайки, откровенно, как на духу, тогда какой ответ?

– А разве не одно и то же? – вырвалось у Двойника, он начинал осваиваться в роли постоянно экзаменуемого.

– Нет, совсем не одно и то же. Главная задача – сохранить власть любой ценой, не дать себя свергнуть, убить. Давайте в ролевую игру сыграем. Поменяемся ролями: вы, Яков Петрович, вдруг на моем месте оказываетесь..., да не вздергивайте брови, не пугайтесь, всего лишь игра, некое допущение; короче, вы – лидер нации, у вас бюджетные деньги, их как ни дели, на всех не хватит, ну как у нас сейчас, и перед вами дилемма: дать на медицину, образование, культуру, на что-то там еще или зарплату повысить военным, фээсбэшникам, полиции, чиновников не забыть. Как будете распределять средства?

Двойник замялся, слегка пожал плечами:

– Я полагаю, выделить врачам, учителям и прочим примерно треть средств, остальное – силовикам.

– Ответ неправильный. Тришкин кафтан делить – бесполезное занятие, всем не потрафишь, недовольные обязательно найдутся, скулить станут – это все равно что поросенка стричь: шерсти мало, визгу много. Правильный ответ таков: деньги дать по максимуму тем, кто державу и

лидера охраняют. Остальным объяснить: страна в кольце врагов, все средства пущены на оборону, и пообещать, непременно пообещать, заверить: улучшится экономика, для чего делается все возможное, и вы получите свое, как только, так сразу. А силовикам зарплату закрытыми указами повысить, чтоб комар носа не подточил.

– Понятно..., – заверил Двойник, поборов несогласие – вступать в полемику с Самим побоялся.

– Вопрос безопасности лидера – первейший, Фидель Кастро однажды в разговоре со мной признался: единственная причина, по которой удалось ему избежать физического устранения, было то, что он сам, только сам, всегда занимался своей личной безопасностью. А уж как американцы старались его ухандокать... Не вышло... Я для своей личной охраны выбираю самых преданных, ни разу в них не ошибся благодаря развитой интуиции. Тот же Атеистович, когда со мной работал, это ж мужик замечательный, за меня в огонь и в воду, под пули, если понадобится. Ну, вы его знаете... Но и поддерживать таких надобно, стимулировать, давать заработать, не беда, если от бизнесов олигархов наших будет кое-что перепадать, миллиончик один, другой... Силовики – оплот власти, их обижать, ущемлять глупо, да и опасно. Возьмем Хрущева, его силовики сдали; или Горбачев – потерял личный контакт с руководством КГБ, отсюда результат; Ельцин избежал участи незавидной, вовремя разумное решение принял – уйти, получил от меня гарантии... Что касается моей безопасности... Потому и ездим мы с вами, Яков Петрович, в разных лимузинах для отвода глаз террористов, потому ничего не ем на приемах за рубежами, только свою пищу, и не пью ничего чужого, однажды даже у соседа Луки в Минске на аэродроме хлеб-соль не попробовал... У меня не один – три *грибных человека* – знаете, кто это такие? Не знаете... Это те, кто пищу пробуют на наличие яда... Береженого бог бережет.

На этом и закончился личный разговор, запомнившийся Якову Петровичу во всех красках и нюансах и не имевший продолжения все последующие годы пребывания близ Верховного Властелина.

2

...Он засыпал, когда позывные мобильного – пронзительный лейтмотив увертюры к “Севильскому цирюльнику” – заставили вздрогнуть и очнуться от сна. В мобильнике знакомый голос:

– Добрый вечер, Яков Петрович, точнее, уже почти ночь. Вы дома или на Истре?

– На даче. День рождения жены отмечали.

– Мои поздравления. Собирайтесь, за вами посылается машина.

– Вы из Крыма? – спросонья спросил, памятуя предыдущий, десятидневной давности звонок куратора из Ялты.

– Из какого Крыма? Окститесь. Я в Москве.

Олег Атеистович был явно взволнован, его выдавали обертоны.

– Возвращаться в Ново-Огарево?

– Вас привезут в Кремль. Собирайтесь... Загримируйтесь как обычно.

– А что случилось? – еще один нелепый вопрос, объяснимый прерванным сном и выпитым.

– По открытой связи я такие вещи не обсуждаю, – отрезал куратор.

По дороге в Москву Яков Петрович вытрезвел. Зачем спешно доставляют в Кремль, он не имел ни малейшего представления, но нутром чувствовал – неспроста; случилось нечто, круто меняющее вектор его, в сущности, размеренной, устоявшейся жизни, показывающая на “восток” стрелка компаса крутанулась на 180 градусов и уперлась в “запад”. Не у кого спросить в машине:

бессловесный водитель и сидящий рядом с Двойником на заднем сиденье неприятный тип с тонкой кадыкастой гусиной шеей, ответивший на пару наводящих вопросов невнятно и с явной неохотой.

На въезде в столицу по обе стороны автостреды угрюмо застыли автобусы с плотными, не пропускавшими света шторками, и крытые тентом грузовики. Кольнуло скверным предчувствием.

После довольно долгой проверки, которую осуществляли не офицеры комендантской службы, как прежде, а люди в штатском, машина сопровождения, следовавшая впереди, въехала в Кремль, за ней черный “мерседес” с Яковом Петровичем. Остановились у 14-го корпуса, где находился рабочий кабинет ВВ, кадыкастый вышел первым, обошел машину, открыл дверцу и пригласил Двойника выйти и проследовать за ним. Через несколько минут они оказались в приемной.

Двойник крайне редко бывал здесь, надобность в частых посещениях отсутствовала – ВВ работал и принимал визитеров по большей части в Резиденциях, особенно в последние пару лет. В приемной находились пятеро человек, никого из них Двойник прежде не видел, во всяком случае, не помнил их лиц.

К нему подошел высокий блондин лет немногим за пятьдесят, с зачесанной на пробор шевелюрой, единственный из присутствовавших в камуфляжной форме. Он вежливо взял Якова Петровича за локоть и провел в кабинет, дверь в который была приоткрыта. Дотоле Двойник не удостоивался такой чести, его миссия заканчивалась в примыкавшей к приемной служебной комнате.

Войдя внутрь, Двойник внезапно испытал некоторое успокоение, на миг отступила тревога сегодняшней ночи, не думалось о том, что случилось и что его ждет, не думалось ни о чем, кроме того, что он вступил в святая святых, и его охватило почти детское нетерпеливое

любопытство: он озирается по сторонам, пытаюсь вообразить присутствие здесь человека, на которого немислимым образом похож, как садится за стол, не подавляющий размерами, над которым герб страны, а справа и слева – флаг государства и штандарт Верховного Властелина, прикасается к письменному прибору из зеленого малахита и компьютерам, подключенным, как и в Резиденциях, к ситуационному центру, расположенному, по всей видимости, в этом же здании, сейчас они выключены, экраны не светятся, и здесь же – телефоны и коммутатор с пультом управления, за телефонами – горшочек с кустистым цветком, у него слегка волнистые листья и белое покрывало; он залюбовался стенами кабинета с золотистым оттенком, обитыми идеально пригнанными друг к другу шлифованными панелями из мореного дуба, вдоль стен шли шкафы, заполненные книгами и справочными изданиями, поднял глаза и уперся в украшенный строгим орнаментом потолок; ближе к окну – стол для переговоров, за которым ВВ разговаривает с высшими чиновниками... Все это он охватил и запечатлел в считанные секунды, пока блондин в камуфляже медленно вел к этому самому столу. Казалось, что может его удивить после того, как сам принимает гостей за таким же столом в Ново-Огарево, ничего не может, но кабинет в Кремле, недоступный для Двойника, это нечто особенное, ни с чем не сравнимое...

Едва они сели напротив друг друга, к Якову Петровичу вернулась тревога. Блондин заговорил приятным сочным баритоном:

– Меня зовут Вячеслав Сергеевич, я – новый первый заместитель директора ФСБ. Извините, что выдернули вас из постели в неурочный час..., – и продолжил глуше и многозначительнее прежнего, делая интонационные пробелы между словами, как обычно бывает, когда оглашается секрет: – Хочу сообщить об *исчезновении ВВ*, произошло это вчера, никто об этом не знает, кроме

высшего руководства спецслужб и армии. Вам, уважаемый Яков Петрович, придется полностью взять бразды правления государством в свои руки, не замещать, как прежде, а руководить, притом несколько месяцев. Так решило высшее руководство...

Якова Петровича будто оглоушили чем-то тяжелым.

– А если ВВ вернется? Ведь он исчезает каждый год, и всякий раз на более длительный срок, – выдохнул в полной растерянности.

– Успокойтесь, на вас лица нет... Он не вернется, ясно? Никогда не вернется. Ему хорошо там, где он находится.

– А взрослые дочери, Арина, дети?

– О них тоже позаботились.

– Вы сказали – несколько месяцев, а что потом?

– Правильная постановка вопроса. В марте будущего года – президентские выборы, так вот вы в них участвовать не будете, через полгода с небольшим – на покой, ваша миссия закончится. Получите гарантии как Первое лицо, тихо-мирно станете жить, в комфорте..., но мемуары сочинять не советую, – Вячеслав Сергеевич хищно улыбнулся, обнажив ровный нижний ряд отливавших неестественной белизной зубов – очевидно, вставных, на имплантах. – Через пару дней выступите по телевидению с Обращением к народу, сообщите о своем..., грубо говоря, отречении, понятно, слово это не прозвучит, но смысл будет понятен – возраст, недомогания, усталость... Имя преемника специально не оглашается, о нем позже поговорим. Пускай СМИ поломают голову, поспорят, повыдвигают кандидатуры, у кого наилучшие шансы – чем активнее будут споры, тем лучше... До инаугурации нового главы государства вы будете по-прежнему во власти.

– Простите, можно поинтересоваться..., ну, так сказать, не по протоколу... Какова позиция церкви, Патриарх в курсе дела?

Вячеслав Сергеевич окинул Двойника долгим тяжелым взглядом, так смотрят на задающего неприятный и одновременно излишний вопрос. Ответ поразил исчерпанностью:

– Кто у кого служит: мы у него или он у нас?

Яков Петрович поспешно и слегка подобострастно закивал – ну, да, ну, конечно...

– С кем мне непосредственно поддерживать связь, от кого получать указания? От Олега Атеистовича?

– Это имя забудьте. Указания будете получать непосредственно от меня. Вам на подпись дадут несколько указов о новых назначениях в ФСБ, Министерствах обороны и внутренних дел, уйдет и премьер, в правительстве появится и.о. Будут и другие изменения. Так что потрудитесь, дорогой Яков Петрович, бывший Двойник, а ныне лидер страны, научиться подписывать документы как ваш предшественник, – человек в камуфляже вновь улыбнулся. – Образец подписи ВВ вы также получите. Все должно быть как взаправду... А сейчас вас отвезут в Ново-Огарево, там новая охрана, имею в виду ваш ближний круг, окончательно войдите в роль Первого лица и задвиньте в дальний ящик парик и усы, они не понадобятся. Займете жилые помещения ВВ, там все готово к вашему приезду. Удачи! – и Вячеслав Сергеевич встал и протянул руку для пожатия.

Ночевал Двойник в покоях Самого, на широченной кровати с жестким, как камень, матрацем – специально сделанным для травмированной после злополучного полета со стерхами спины ВВ. Донельзя испуганный, вымотанный, удрученный беседой с блондином в камуфляже, заснул как убитый и проснулся около полудня под мелодию будильника “С чего начинается родина?”, ничем в этом отношении не отличаясь от хозяина Резиденции, канувшего неизвестно куда – тот тоже вставал поздно.

В иной ситуации Яков Петрович не преминул бы внимательнейшим образом оглядеть обстановку спальни, пройтись по другим покоям, прежде чем сделать зарядку, окунуться в прохладную воду личного бассейна вождя и поиграть бицепсами на его тренажерах, но нынче было не до этого – в мозг впилась иглой беспощадная мысль, что проснулся он в другой стране и его настоящее и ближайшее будущее напрямую зависит от того, каким образом станут развиваться события.

Совершился, это очевидно, путч, переворот, похоже, бескровный, за исключением таинственного исчезновения ВВ – вовсе не такого, как обычно, иначе Двойник не провел бы ночь в его постели (впрочем, с судьбой вождя ничего не было ясно); но кто пришел к власти, чем она, эта власть, будет отличаться от прежней и будет ли – этого Яков Петрович не ведал и мог лишь строить догадки. То, что с ним беседовал новый высокий чин ФСБ и замкнул связи Двойника, теперь уже *бывшего*, на себе, говорило о многом, однако не обо всем. Страшно было подумать – отныне он, бывший Двойник, именно он, будет проводить все без исключения встречи, выступать в собраниях, по телевидению, издавать законы, решать мелкие, сиюминутные, и главные в масштабах страны вопросы, говорить то, что ему предпишут, и одновременно обладать той степенью неограниченной власти, которая дотоле и не мерещилась. И все это на протяжении считанных месяцев, до инаугурации, как сказал Вячеслав Сергеевич. А что потом, куда денут Якова Петровича, оставшегося не у дел? Ответа не было, взамен – ползущий по позвоночному столбу липкий, обморочный страх.

3

Уходили бесследно, как вода в песок, дни, недели, возбужденная страна жила в лихорадочном ожидании скорых перемен – непременно перемен, ибо по-прежнему жить многие не хотели, менялся тон прессы, в

официальных печатных СМИ (а других не осталось) осторожно, словно на пробу *можно-нельзя*, просачивались статьи, позволявшие хотя бы отчасти усомниться в величии ВВ, ниспосланном свыше: намеками, а иногда и напрямую писалось о неправомерности решений кремлевского бонзы, особенно это касалось страны-соседки, у которой еще девять лет назад нагло оттяпали часть территории и не собирались возвращать, воткнули спицу в тело, образовав долго не рассасывавшийся гнойник. Яков Петрович вспоминал давнюю зловещую шутку дочкиного хахаля: Кремль – самая неприступная из всех преступных крепостей мира... Двойник тогда вызверился, едва не выгнал его из-за стола, за которым кипел спор, затеянный, как обычно, либералкой дочерью; теперь же воспринимал это спокойно и почти равнодушно – то ли еще напишут... А писали о том, что никто иной как сам ВВ споспешествовал превращению страны в осажденную крепость, ведя недалновидную и опасную политику.

Яков Петрович диву давался, с какой необыкновенной легкостью, граничившей с щекочущей самолюбие радостью *дозволяемого*, начинали вести себя прежде лояльные, послушные, боязливые, выслуживавшиеся перед властью издания. Следовательно, им *разрешили*, делал незамысловатый вывод, без такого соизволения держали бы рот на замке, как прежде.

Потихоньку росло количество статей, чьим объектом становился впадающий в немощь Хозяин, чья сила утекала, как спертый воздух из проколотой камеры футбольного мяча, а вместе с воздухом в людях, казалось, начинал улетучиваться животный страх. Или так только казалось...

Более всего неистовствовали Сети на фоне резко ослабившего пути надзорного ведомства. Посты чехвостили вождя на чем свет стоит, лупили наотмашь, ничего не стесняясь, зубоскалили, насмехались,

издевались; Яков Петрович читал и диву давался – сколько же ненависти накопилось... Вспоминали прошлое ВВ, откровенно называемое воровским, бандитским, преступным, приводили факты одни другого хлеще, в сущности, известные – как в свою бытность в мэрии вымогал взятки во время встреч с бизнесменами, рисуя на бумаге пяти-шестизначные цифры со знаком доллара, имел отношения с мальшевской преступной группировкой, кроме прочего, поставившей приплывающую из Колумбии наркоту, наживался на бартерных сделках: осенью 1991-го, в родном его городе, как в блокаду, начался голод, продуктов не было, взять их было неоткуда, горсовет ввел карточки; спасением виделись эти самые бартерные сделки: мэрия предоставляла частным компаниям право на вывоз за рубеж нефтепродуктов, металлов, хлопка, леса, эти компании обязались на вырученные средства закупить и привезти жратву на сто с лишним миллионов долларов, но деньги ушли и осели где и у кого положено, продукты же в нужных объемах так и не появились; и тогда будущий ВВ пригнал гуманитарные грузы – несколько десятков тонн мясных собачьих консервов, и угроза белкового голода на какое-то время отдалилась; кто уж ел собачью пищу, неизвестно, скорее всего, консервы добавкой легли в фарш для котлет, макароны по-флотски и в иные блюда общепита.

И на телевидении зрели видимые приметливому глазу перемены: сюжеты с ВВ становились все более редкими (Яков Петрович искренне радовался – обязательных съемок у него заметно поубавилось), да и имя Властителя, прежде упоминаемое всуе, исчезало из дикторских новостных текстов; еще совсем недавно дружно ненавидимых пиндосов и укропов почти не упоминали, а если и упоминали, то тон был иной, куда менее враждебный – ну есть они и есть, что поделаешь... Зато больше говорили о нехватке всего и вся, неотвратимо

растущей инфляции, безработице, бедности, незаметно переросшей в нищету – и плохо скрываемым намеком – это плоды его, вождя, политики.

Все было известно и ранее, только молчали тогда в тряпочку знающие и ведающие, а кто не молчал, того антипатриотом объявляли, экстремистом, национал-предателем, клеветущим на вождя, и к ногтю их, недовольных правдорубов.

Честно сказать, начавшаяся вакханалия выводила Якова Петровича из равновесия: оставшись вместо исчезнувшего Властелина один на один со страной и миром, уже не Двойник, с которого, в сущности, взятки гладки, он невольно, не в силах понять, как подобная трансформация происходит в его голове, принимал все на себя, не в силах *выйти из образа*, и получалось, будто это он, именно он, вымогал взятки, крышевал малышей, кормил город собачьими консервами..., а много позже, усевшись на кремлевский трон, принимал решения по захвату Крыма, введению антисанкций, сжиганию продуктов, военным действиям на Ближнем Востоке и прочему...

Некоторые отечественные и зарубежные СМИ жаждали встречи с ним, просили пресс-службу об интервью, особенно рвалась скандальная журналистка, заполошенная дочка мэра Питера, под чьим крылом начинал сногшибательную карьеру человек по кличке “моль”, на глазах превратившийся в дракона, она давно рассорилась с ним, но в новых обстоятельствах непременно хотела пообщаться; по распоряжению куратора никаких личных контактов не планировалось (намек на нездоровье): хотите интервью – присылайте вопросы, ВВ ответит в письменном виде.

Словно подыгрывая тем, кто уже без стеснения намекал на возможный тяжелый недуг ВВ, Яков Петрович реже посещал тренажерный зал, пропускал прежде обязательные заплывы по двести метров в бассейне, его к

этому никто не принуждал; дело, однако, заключалось не в лени – он играл роль лидера нации, стремился соответствовать образу стареющего, теряющего силы человека, каким его пытались представить.

4

Кое-что прояснилось в разговоре с Вячеславом Сергеевичем, изъявившем желание попариться в новогоревской Резиденции.

Отдыхая в предбаннике и попивая ароматный чаек, приготовленный по особому рецепту с добавлением трав, новый куратор, утирая пот, неожиданно произнес:

– Признайтесь, дорогой Яков Петрович, надоела вам нынешняя роль? Наверное, ждете не дождетесь выборов, когда самим собой сможете стать, правда, снова усы и парик надевать придется, а может, бороду отрастить и темные очки нацепить, или пластическую операцию сделать – только чтобы на ВВ не походить, не смущать общество сходством – пусть нетленный образ его растворится в памяти народной.., – и ослабил.

Тон генерала Якову Петровичу не понравился, почудились легкая насмешка, плохо скрытое ехидство – и предостережение: кончается твое время, не надобен ты больше, а дальше – будем посмотреть; над своей судьбой ты не властен – *как мы решим*, так и будет.

– Не спорю, положение мое странное, двойственное. Уж и не знаю, к чему готовиться.

– Как говорят англичане, надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему. Шутка, к вам не относится.

Темнит генерал, еще как *относится*. Решил позондировать почву, спросить, какие новые указы готовятся, кои ему подписать предстоит, и имя преемника хорошо бы узнать, но не скажет Вячеслав Сергеевич, не доверит тайну допреж положенного срока объявления народу, за кого голосовать предстоит. А вот и ошибся – куратор не стал скрывать, *со своим* ведь дело имеет, да и с

кем Яков Петрович поделиться может сведениями – то-то и оно, что не с кем, не с вражеской же разведкой... Но сначала об указах и о народе высказался, без обиняков. Политэкам амнистия выйдет, вашей, дорогой друг, волей, и Заявление по поводу российской внешней политики зачитаете перед камерами, кое-что меняется, надо нажим ослаблять, риторику воинственную менять, перестать всему миру грозить, иначе в одночасье все рухнуть может, так и сказал: “мы не хотим, чтобы обвалилось вдруг...”

– Выходит, действовать будем в либеральном ключе? – переспросил Яков Петрович.

– Либералы не при чем. Знаете, русский писатель замечательно высказался: “Паровой котел устроен так, что может выдержать большое давление пара. Но стоит плотно запереть все предохранительные клапаны, то котел несколько времени продержится, а потом непременно взорвется и опрокинет труп машиниста на груду трупов его друзей”. Кто сказал, знаете?

– Не имею представления.

– Достоевский, Федор Михайлович. Журнал с братом издавал “Время”, фраза оттуда. Мы же не хотим быть убитыми осколками взорвавшегося котла, верно? Потому и нужно периодически пар стравливать, сейчас как раз такой момент... Яков Петрович, поймите, мы не боимся бедствующего народа, что на площади выхлестнет, куда он не выхлестнет, народ наш вполне управляемый, голову ему задурить ничего не стоит, ему и дурили благодаря телевидению. *Ящик* – чудовищная, разрушительная сила, страшнее атомной бомбы, я бы на месте ЦРУ изучал наш опыт досконально, мы здесь впереди планеты всей. Если бы у Геббельса был *ящик*, с немцами справиться было бы куда труднее. А народ наш замечательный, другого такого не найти, кто сказал, не помню: русские сгнили, не успев дозреть. Гадкая фразочка, но точная, поди поспорь..., и вообще, мы народ не слаборазвитый, мы народ, *неправильно* развитый. Контролировать его

необходимо, направлять, путь указывать, чтобы не заблудился. Русский человек ведь как ребенок, без присмотра оставлять нельзя – непременно набедокурит, нашкодит.

Яков Петрович ушам не верил – никогда куратор не говорил с ним с такой обескураживающей откровенностью; за подобные высказывания в кутузку запросто можно загреметь..., чистая русофобия. Хотя что ж такого вредного и опасного прозвучало: дочь Альбина на пару с ее хахалем куда жестче изъясняются; генералу, видно, дозволено, да и не с чужим говорит.

Вячеслав Сергеевич продолжал, шумно прихлебывая чай:

– Перессорились со всем миром, в самоизоляции, а это, по сути, капитуляция, добровольно в угол себя загнали, нами на Западе детей пугают, а ведь нам все равно жить вместе; у американцев поговорка есть: можно развестись с мужем, с женой, но нельзя развестись с соседом.

Понимаете, какая петрушка...

И резким движением сбросив с плеч простыню, как боксер освобождается от халата перед началом поединка:

– ВВ не просто так пропал, растворился во времени и пространстве, его исчезновение – шанс повернуть движение страны в правильном направлении, раньше надо было, но решимости не хватало, страх обуял. Мы берем всю ответственность на себя, так как являемся истинными патриотами; патриотизм – не в ненависти ко всем соседям, ближним и дальним, а в любви к родине, желании вылечить ее, занедужившую – извините, что говорю банальными клише, но по-другому не могу выразить мысль.

– А кто это – *мы*? – выдал из себя Яков Петрович. – Неужто человек, на которого ставка делается, преемник то есть, неужто он намерен круто ход жизни поменять, реформы всякие проводить и прочее? Не получится, попытка с негодными средствами, народ, о котором вы

только что говорили нелицеприятно, не захочет, не позволит.

– Не позволит? – с ехидцей произнес генерал. – Может, еще и не проголосует?.. Народ никто спрашивать не будет, однако и либералов никто во власть возводить не собирается – надо безумцем быть, чтобы на такое решиться. Пьеса по ходу действия меняется, смена декораций, часть актеров покидает сцену, на смену новые приходят, из резерва, который никогда не скудел – не зря ведущих программ на *ящике* находим других, крышка котла слегка приподнимется, а потом, уверяю, опять опустится, а править по-прежнему будем мы – *органы*, только уже другие люди, понимающие, что страна пошла вразнос, призванные спасти ее ради собственного блага, ну и, конечно, народа, хотя не уверен, что ему это нужно; не ВВ поставил народ раком, а народ жаждал иметь такого правителя, он и появился... Однако при нем все медным тазом накрывается, вот мы и выгруливаем на другую колею, тоже ухабистую, но надежду дающую на спасение...

– Так кто же спаситель, преемник? – упрямо гнул свое Яков Петрович.

Куратор помедлил с ответом, отвел взгляд, словно не к нему обращен вопрос, достал из баночки чайной ложкой клюквенное варенье, положил в рот, посмаковал, прежде чем проглотить.

– Вам имя его знакомо, возможно, встречались, не из ФСБ, не чекист, что важно для реноме, но с нами давно связан, финансист, крепкий менеджер, жил и работал некоторое время за границей, вполне вменяемый, управляемый, без мания величия, пока, во всяком случае. Большого сказать не могу – дождитесь начала декабря. Уясните самое важное: власть по-прежнему у нас, ни с кем делиться ею не собираемся.

5

...До выборов оставалась неделя, в воскресенье Якову Петровичу предстояло дать давно обещанное интервью корреспонденту CNN, это выглядело жестом, знаком, посылом пиндосам, которых зомбоящик больше так не называл (велено было).

Накануне стала грызть, как приступ подагры, неотступная тревога: что с ним будет. От шагреневой кожи оставалась совсем малость, выборы и инаугурация назначенного сверху Преемника неотвратно приближались, а с ними решалась и судьба Двойника, никому не нужного и, Яков Петрович понимал, опасного: присутствие всем известного, налитанного ботоксом лица, любимого и ненавидимого (известно, от любви до ненависти один шаг) может восприниматься неким вызовом: кому ты нужен, бессменный правитель, надоел, поди прочь, с глаз долой! И будет жить-поживать на покое не под своим именем персональный пенсионер с сотней-другой миллиардов в загашнике, которых на самом деле нет, то есть они существуют, но воспользоваться ими мог и не успел тот, кто бесследно исчез в конце августа 2023-го, и парой госдач, не таких шикарных, как Ново-Огарево, Сочи или Геленджик (их отнимут), но вполне достойных для проживания такой великой, богом посланной личности, обладающей гарантиями неприкосновенности. Суд в Гааге будет требовать его выдачи и постоянно получать отказ, что автоматически делает ВВ невыездным. И до конца дней будет Яков Петрович играть чужую роль, и похоронят его с помпой на мемориальном кладбище, и напишут на могильном граните чужие имя, фамилию и отчество, и приходиться к нему дети и внуки будут, страшась произносить имя подлинное...

Так выглядел лучший вариант, другой представлялся совсем иным: вскоре после выборов *что-то с ним случится*, мрачный старец в рубище Харон перевезет его через подземную реку, чтоб больше не возникал, не

возбуждал в народе нежелательные воспоминания, и на том закончится история ВВ и его Двойника...

Яков Петрович видел лица близких, в воображении своем крепко обнимал и целовал, словно прощался, и звучало недавно вышептанное дочерью: “Ничего не бойся...”, звучащее набатным колоколом.

Давид Гай – известный журналист, писатель. Его принадлежат более двух десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинии Суловой; повести «День рождения» и «Телохраниль» (по одной из них недавно в России выпущена аудиокнига); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане; «Десятый круг» – о жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто.

В последние годы в Москве изданы романы Давида Гая «Джекпот», «Сослагательное наклонение», «Средь круговращения земного...». Роман «Террариум» увидел свет в Нью-Йорке на русском и английском языках.

БОРИС САНДЛЕР

МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ

1

Не знаю, как это назвать. Наверно, влюбленность. Мне это чувство приоткрылось в детстве. В нашем доме одну из комнат мама сдавала в наём. Просторную комнату с большим окном, глядящим в сторону улицы. Сдавали ее жильцам не потому, что легко могли обойтись без нее мы – мама, я с младшим братишкой, бабушка. После смерти папы нашей маме пришлось столкнуться с тяготами, нелегко было содержать семейство. К тому же отец довольно продолжительное время мучился, почти не работал, больше лежал в больницах. На фронте он застудил лёгкие и, как говорила бабушка, мамина мама, достаточно прыщика, чтобы он превратился в язву.

В комнате, предоставленной квартирантам, до папиной смерти жила бабушка. Потом она сама предложила перетащить ее кровать в спальню моих родителей. Мама была совсем не в восторге от плана бабушки, но другого шанса хоть чуть-чуть улучшить наш семейный бюджет, в любом случае убогий, добавить к нему несколько рублей, не предвиделось. У семейной четы, поселившейся в освобожденной комнате, была дочурка – Лея, Леечка. Выглядела она старше моего братишки, но младше меня. В том году мне предстояло пойти в первый класс, и это означало, что я уже большой, особенно после смерти папы. Леечкины папа-мама оба работали на меховом комбинате, там же, где и моя мама. Чтобы не оставлять девочку дома одну, они были вынуждены работать в разные смены. И все же не раз случалось, кто-то из них задерживался, и Леечка оставалась в одиночестве. Тогда бабушка посылала меня посидеть с девочкой некоторое время, а также совала мне для нее коржик или кусочек свежее испеченного кукурузного маляя на блюдечке: «Занеси Леечке, пусть

подкрепится... Небось, проголодалась...»

У моей бабушки все время надо было «что-то положить на зуб», иначе «голод одолевал». Помню, как я впервые зашел к Лее. Она совсем не набросилась на бабушкино угощение. Больше обрадовалась моему появлению, хотя и не выплеснула это наружу. Сидела на своем узком диванчике с тряпичной куклой на коленях, не шевелясь, только голову поворачивала в мою сторону, показывая, что все-таки заметила меня.

– На... вот... бабушка тебе послала...

Я нарочно говорил громко, будто стрелял словами...

Пусть до нее дойдет, что я здесь.

– Положи на стол, я не голодная.

Леечка же говорила очень тихо, почти шептала, словно хотела показать, что моя пальба ей нипочем. Тем не менее, она чуть-чуть отодвинулась, точно на диванчике было мало места, и рукой предложила – присаживайся рядом. Я повиновался, хотя еще минуту назад готов был застрелить ее из того самого пистолета, который сам смастерил из дощечки. Там, во дворе, идет нескончаемая война, мои приятели сражаются с фашистами, а я...

Присел я не близко к ней, а слегка поодаль, Лея в мою сторону даже не смотрела, все получилось, как она хотела. Обняв куклу, Лея сказала:

– Ее зовут Маша. Это моя доченька.

Я криво усмехнулся, но не в сторону Леи, – в другую. То, что я сижу с ней на одном диванчике, вовсе не означает, что меня увлекают ее девчоночьи игрушки.

– Тряпичная доченька!

Мой выстрел, видимо, опять не задел ее. Указав взглядом на мой пистолет, торчавший из правого кармана коротких штанишек, она чуть громче, чем раньше, произнесла:

– Покрасивее, чем эта деревяшка.

Мне следовало, конечно, сразу подняться и уйти, оставить ее, пусть сидит одна со своей красавицей Машей. Но я остался на месте, будто приклеенный. Нет, будто мои

штаны треснули на интересном месте, и мне придется тут сидеть, пока не стемнеет на дворе. Я даже почувствовал, как меня бросило в жар.

Лея прижала к себе свою куклу, уткнулась носом в ее шелковые волосы, заплетенные в две косички.

– Она, бедняжка, очень больна, - со вздохом произнесла Лея.

Я снова был готов посмеяться над ней: разве может болеть тряпичная кукла? Но слова ее так жалобно слетели с губ, так страдальчески она вздохнула, что мои колючие замечания застряли в глотке. Я промямлил что-то невразумительное, как младенец, играющий со своей слюной. А Лея печально продолжала:

– Ее нельзя оставлять одну... Вдруг ей может стать плохо.

Говорила она таким голосом, как моя бабушка в ту пору, когда мой папа лежал больной. «Маленькая девочка – старая бабка», - мелькнуло у меня в уме, и невольно вырвался смешок. Лея заметила усмешку и отозвалась на нее, но обращаясь к своей Маше, не ко мне:

– Разве уместно хихикать, когда кто-то болеет?

– Я нечаянно... Просто вспомнил мою бабушку...

– Твоя бабушка хорошая, печет вкусные коржики, - произнесла Леечка все с той же интонацией старой еврейки. – А у меня бабушки нет. И никогда не было.

Я растерялся и смутился так, словно это моя вина, что у меня есть бабушка, а у Леи – нет. У многих ребят с нашей улицы тоже нет бабушек, они погибли во время войны или умерли сразу после войны. Но никто из них на это не жаловался. Я даже хотел об этом сказать Лее, но тут вошла ее мама. Вся в поту от жары и, видимо, от спешки, поставила на табуретку тяжело нагруженную покупками авоську, – каждая домохозяйка носила с собой такую сетчатую сумочку на всякий случай. Особых лакомств не искали, но если выпадала удача, в эту сеть можно было поймать в гастрономе, по дороге с работы, что-то

необходимое для дома. Все покупки были видны сквозь ячейки плетеной авоськи.

– Извините, детки, я задержалась, – стала оправдываться Леина мама, выставляя на стол бутылки молока, кефира, пакетик сливочного масла, завернутый в пергаментную бумагу, пачку сахара... – Я стояла в длинной очереди за мясом, но к тому времени, когда подошла моя очередь, мясо закончилось, остались только кости.

В подтверждение своих слов она выложила на стол подмокший бумажный пакет, из прорехи в его боку торчал острый край кости. На разгоряченном лице Леиной мамы мелькнула улыбка. Она поблагодарила меня за то, что я посидел с ее дочкой, и добавила:

– Заходи к нам вечером, вместе поедим вкусного борща с сахарной косточкой...

2

Женщину эту я видел каждое утро в без четверти восемь, на автобусной остановке. Обычно к этому часу собираются те же самые пассажиры, многие узнают друг друга. Эта особа выделялась среди всех других элегантностью облика, как будто только что вышла из салона красоты и европейской одежды. Чтобы женщина так выглядела в без четверти восемь, она должна встать, по меньшей мере, на два часа раньше. Нет, она не выглядела очень нарядной, как для банкета или концерта в Карнеги-холле, просто чувствовалось, что к своему внешнему виду она относится очень серьезно, я бы даже сказал, заботливо.

Конечно, пока мы ждали автобус, я на нее поглядывал, как и другие привычные пассажиры, – две женщины и трое мужчин. Посмотрев в ту сторону, откуда должен появиться автобус, я мельком бросил короткий взгляд на ее стройную фигуру. Она это почувствовала, но всем своим видом дала понять, что на такие пустяки не обращает внимания, она к этому привыкла.

Многие женщины носят красивые наряды не потому, что

они им к лицу, а просто потому, что эти вещи им нравятся. Не мне принадлежит эта мысль, мне ее подсказала как-то моя жена, вспоминая одну из наших знакомых. «Она, бедняга, забывает заглянуть в паспорт. Фасад ее наряда не соответствует году рождения дамы».

Облик моей утренней попутчицы был полной противоположностью таких женщин бедняг. Уже в автобусе ее можно было разглядеть обстоятельнее. Обычно я немного ждал, пока она войдет в салон, и после нее садился где-то поблизости. То, что ей шестой десяток, не мог скрыть воздушно-шелковистый шарфик вокруг шеи, каждый раз другой, под цвет кофты. Косметики на ее лице я не замечал, разве что черная полоска на веках и на губах бордовая помада.

Мы оба тут же извлекали свои айпеды – я из портфеля, она из сумки. Я заметил и знаю это по будничному опыту моей жены, что редко можно увидеть женщину, едущую на работу с одной маленькой сумочкой. Большинство пассажиров нашего автобуса ехали до станции сабвея, чтобы затем продолжить движение под стук железных колес подземки в Манхэттен.

Эти несколько минут ожидания автобуса, затем пятнадцать-двадцать минут в самом автобусе – и было то время, которое я проводил с этой незнакомой женщиной. Я знал, что она дальше едет тем же поездом, что я. Конечно, я мог бы нарушить мою привычную робость и сесть с того же места на перроне в ее вагон, но я этого не делал. Что-то меня удерживало – то ли моя педантичная привычка ехать на работу таким способом, то ли трезвое опасение не молодого мужчины выглядеть смешным, нелепым в глазах женщины. А что она заметит мою неожиданно новую дислокацию, в этом я ничуть не сомневался.

Под стук вагонных колес в течение сорока минут, сколько длится моя дорога на работу, если поезд не задержался из-за непредвиденных помех, облик моей спутницы постепенно растворялся в потоке суеты.

Вечером, когда я устало возвращался назад в Бруклин, мне уже было не до каких-то фантазий, даже связанных с внешностью прелестной женщины.

Часто во время моих утренних поездок я мысленно пытался угадать, откуда она прибыла сюда, чем занимается? Причем не только в связи с этим конкретным случаем. Я это делаю обычно, когда в пути не охота читать и нужно чем-то заполнить время и мысли. У меня это называется читать лица. Подобный прием, узнал я в интернете, помогает предотвратить болезнь Альцгеймера. Звучит забавно – мысли мои заняты размышлением о незнакомой красивой женщине, но я это делаю как психологическое упражнение для мозга.

Что она не коренная американка, подобно мне и другим пришельцам, я ничуть не сомневался. Так же как и еврейское ее происхождение было для меня очевидно. Это читалось в ее лице четкими штрихами: глубокие темные глаза еврейской мамы, нос с обаятельной горбинкой. Прибыла она сюда, наверно, в 1990-е годы из большого города, возможно, из Львова или Черновиц, но определенно не из Москвы или Ленинграда. Это чувствуется по ее внешности и манере держаться. Я бы назвал ее западно-советской. Никакой столичной надменности. Она принадлежит к моему поколению «золотых пятидесятников», получила высшее образование, скорее всего – гуманитарное. Немало еврейских девушек времен моей молодости окончили филфак. (По-английски это слово звучит неприлично, но на самом деле это всего лишь сокращение – филологический факультет). А может, закончила экономический факультет, реже – медицинский институт, но в такой вуз еврейской девушке можно было попасть, лишь уехав куда-то вглубь России или сделав жирное подношение. В шкале «куда пойти учиться» последнее место занимали технические факультеты. Еврейские мамы (а они главным образом решали, где надлежит их дочкам получать образование) полагали, что

не подходит женщине заниматься мужской работой. Приоритет стать инженером они оставляли для своих сыновей.

Работает ли незнакомка по своей профессии, полученной еще дома? Не думаю. Скорей закончила курсы компьютерщиков или бухгалтеров, немало женщин той волны эмиграции ринулись в офисы бизнеса. Казалось, для этого нет нужды дополнительно учиться и скорей можно заработать средства на жизнь. Но думаю, что моя незнакомка пошла по первому пути и, возможно, освоила компьютерную науку. Немало моих знакомых, даже одна бывшая музыкантша, стали программистами. И совсем неплохо зарабатывали, пока многие из этих новоиспеченных и преуспевающих специалистов на переломе двухтысячного года не остались без работы.

Понятное дело, живет она в той же части города, где я. Иначе мы по утрам не виделись бы на той же самой автобусной остановке. Но где она работает в Манхэттене? Может, в административном офисе? Вскоре все мои аналитические головоломки обрушились. Как говорится, случай подыграл. Или просто так это выглядело в моих глазах...

3

Частенько Леечкина мама выносила во двор маленькую скамейку, девочка сидела на ней долгими часами со своей куклой Машей и что-то рассказывала ей. Что может девчушка рассказывать кукле? Наверно, обещает ей сварить вкусную кашку или купить ей пару красивых туфелек, юбочку или тому подобные глупости. Однажды летним днем я взобрался на кряжистую шелковицу, росшую в нашем дворе как раз под окном той комнаты, где жила Лея. Хотелось мне полакомиться темно-багровыми ягодами шелковицы. После них не так просто было отмыть руки, губы и щеки от ало-фиолетовой окраски, въевшейся в кожу, и бабушка всегда ворчала, что пятна на майке

останутся навсегда. В этих маленьких ягодах таилось чудо. Я не мог остановиться, поглощая их, пока не опустошил все тутовое дерево. В этом деле мне очень помогли птички, еще более ненасытные любительницы ягод, чем я.

Сидел я так на ветке шелковицы в гуще листвы, отщипывал сладкие ягоды и кидал в рот. Какое там мытье ягод! Разве воробьи моют их? Клюют, глотают и не боятся никаких микробов. Вдруг до меня донеслось, как Лея рассказывает своей кукле тихо журчащим голосом... Забавно послушать. Я перестал глотать ягоды и наострил слух.

Лея держит на руках свою Машу и обращает к ней человеческие слова, грустно и печально рассказывает о девочке, которая отравилась яблоком, потому что было это не простое яблоко, злой колдун его заколдовал. Умершую девочку отнесли на вершину высокой горы и там оставили в темной пещере. Ровно сто лет пролежала девочка в той пещере, пока в один прекрасный день на вершину горы не поднялся прекрасный принц. Он подошел к закованной девочке, нагнулся к ее лицу и поцеловал ее бледные губы. Девочка мгновенно ожила...

Позже я наслушался от Леи уймы таких доморощенных сказочек – про девочку, которую укусила бешеная собака, и она сошла с ума, укусила свою подружку, а та, в свой черед, укусила свою подружку и таким образом все девочки того поселения покусали друг подружку и все спятили... Но в конце в это поселение наведалься прекрасный принц верхом на белом коне, поцеловал в губы первую девочку, сразу стало ясно и понятно, что та пришла в себя и поцеловала свою подружку, так что поцелуй принца исцелил всех девочек поселения, передаваемый от одной к другой.

Потом у Леечки появилась целая серия сказочек о бедных сиротках, калеках, утопленницах, заживо похороненных, заблудившихся в темном лесу, украденных цыганами, – беспросветные, душещипательные страшилки,

хоть вешайся, и все-таки эти небылицы сводились к одному: в конце появлялся обворожительный принц на белом коне, целовал девочку в губы, и все завершалось благополучно.

Сидя в тот летний день на ветке тутового дерева, я еще не знал, что Лея битком набита подобными сказочками. Тогда я выслушал до конца про отравленную девочку, сорвал с ветки крупную ягоду шелковицы и кинул Леечке. Пусть подсластит свое настроение, может, не станет рассказывать такие нелепые небылицы.

Леечка вздрогнула, хотя ягода попала в ее куклу. Подняв голову, увидела меня, но обратилась к своей Маше: «Не пугайся... Он глупый мальчишка, принцем ему никогда не быть».

Конечно, это меня задело. Нет, не потому, что по ее предсказанию мне не суждено превратиться в принца, а за то, что обозвала глупым. Я спрыгнул с дерева и сделал шаг в сторону Леи, сжав кулаки.

– Ты напугал мою девочку, – произнесла Лея, – а у нее слабое сердце, она могла умереть.

Вот тебе новая басня – кукла с больным сердцем, потеха, да и только. Я Лее так и сказал, но мои слова ее не задели. Она сердито перебила:

– Не говори так... Ты просто не знаешь, Маше предстоит тяжелая операция.

Она на миг задумалась, погладила куклу и закончила разговор, как завершала свои сказки:

– Но появится красивый принц, поцелует ее в губы, и Маша сразу выздоровеет без всяких операций.

Несмотря на то, что стать принцем мне не суждено, я все же начал часто встречаться с Леечкой и в доме, когда бабушка посылала меня отнести что-то, и во дворе, на скамеечке, где места хватало для всех нас троих – Лее с ее дочуркой и мне. Больше того, я прямо-таки чувствовал, как меня тянет к ней, к ее нелепым небылицам с целебным поцелуем принца. Хоть на миг задержаться возле нее,

когда она сидит во дворе и с серьезным видом спрашивает у Маши, как она себя чувствует сегодня.

Приятели с нашей улицы не могли этого не заметить. Один из них даже поинтересовался, чего это я так часто сижу рядом с девчонкой и перешептываюсь целыми днями?

– Может, играете в папы-мамы? – спросил он и захохотал.

Остальные мальчишки тоже засмеялись.

Я не замедлил огрызнуться, - не ваше дело! Просто она живет временно у нас со своими родителями.

– Я должен это делать, – начал я оправдываться, – мне бабушка велит, потому что... Потому что девчонка слепая, – неожиданно для самого себя вдруг выпалил я.

И чувствовал, как лицо мое заливается краской, мгновенно вспотел. Но мои приятели ничего особенного не заметили. К тому времени мы уже разделились на две ватаги – казаков и разбойников. И закипела игра.

Дурацкий обман мне все-таки пригодился, он навел меня на мысль спросить у Леечки:

– Почему ты играешь только со своей Машей? На нашей улице столько девочек, а ты и со скакалкой не прыгаешь, и с ними не бегаешь?

Леечка не сразу ответила. Наконец, тихо сказала:

– Моя Маша очень не здорова... Пока я не могу...

«Пока...» Мне вспомнилось, что совсем недавно моя мама тоже произнесла такие слова на идише: «Пока я не могу». Сказано было так, чтобы я с моим братиком не поняли. Мама тогда пререкалась с бабушкой не первый раз после папиной смерти. И как в другие разы, бабушка закончила размолвку тяжелым вздохом и словами: «Пока... Тем временем жизнь уходит».

Услышав от Леечки то самое «пока», я ей ответил словами бабушки: «Пока... Жизнь проходит». Леечка промолчала, как моя мама, которая тогда тоже ничего не ответила.

Лето пролетело, как это случается в детстве. Как бесконечно долго ни длился бы летний день, его все равно не хватает для захватывающих игр, когда жалко потерять несколько минут на то, чтобы покушать за столом, «почеловечески». Забежишь домой на мгновение, перехватишь краюшку хлеба, намазанную повидлом – и айда обратно на улицу.

Но в тот год лето не спешило распрощаться с календарем, висевшим на стене у нас на кухне под черным репродуктором. Каждое утро я подбегал к календарю после того, как мама обрывала очередной листок со вчерашней датой и с нетерпением поглядывал, когда на нем появится первое сентября.

В шкафу меня уже ожидала новая, с иголки школьная форма, фуражка, как у офицеров. А на широком ремне – блестящая золотая пряжка. Я уже не говорю о кожаном ранце с чистыми тетрадями, учебником и такой удивительной штуковиной, которая называется пенал. В нем лежат, спрятавшись от моего младшего братца, два заточенных карандаша, синяя резинка для исправления ошибок.

Наконец, первое сентября наступило.

В нарядной одежде, с ранцем в руке вышел я из дому. Леечка уже сидела у стены на своей скамейке. Увидев меня, на свой лад откликнулась и движением руки попросила остановиться возле нее. По правде сказать, в этот раз я выполнил ее пожелание без особой охоты. Даже пытался найти отговорку, сослаться на то, что боюсь опоздать в школу. Но Леечка пропустила эти слова мимо ушей. Только на минуточку, уступил я ее капризу.

– У тебя есть что сказать мне?

– Да... Я тоже ждала этого дня. Сегодня мы с мамой уезжаем...

Леечка сказала мне это, не сводя глаз с куклы.

– Ты уезжаешь? Почему? Куда?

– Это секрет... Не мой, а Машин.

– Надолго уезжаешь? – не переставал я допытываться.
– Не знаю... Может, навсегда...

Она вдруг резко повернула голову ко мне, заглянула в глаза. Через много лет я понял, что означает такой женский взгляд, когда уже слова становятся ненужными для того, чтобы понять друг друга. Я ничего не расслышал, только делал то, что Леечка просила взглядом. Я приблизил лицо к ее лицу и поцеловал ее в губы, наверно, как поступал тот принц из ее сказочек.

4

Автобус подкатил к остановке, пассажиры стали заходить в салон, когда ко мне приблизилась стройная женщина с долларом в руке. Выглядела она несколько растерянно, и это настроение передалось мне после ее фразы: «Вы не могли бы разменять мне доллар?»

В ее вопросе или просьбе не было ни одного слова, что могло бы вызвать у меня смятение. Не раз случалось нечто подобное: пассажир спохватывался в последний момент, что нет мелочи заплатить за проезд, а бумажных денег автоматическая касса не принимает. Смущение мое возникло от неожиданности, что именно эта женщина сама подошла ко мне.

Совсем не важно было, что она спрашивает, я впервые услышал ее голос.

После того как я часто встречал ее по утрам, после многих совместных поездок, раздумий о ней, не смея к ней приблизиться, я вдруг услышал, как она о чем-то просит меня, как раз в тот момент, когда я привычно ждал, чтобы она вошла в автобус раньше, заняла удобное место, а я бы потом держал ее в поле зрения.

Я машинально похлопал по карману, нащупал лежавший там кошелек.

– Нет... – произнес я и сразу спохватился, – ничего страшного, я за вас заплачу моей карточкой.

Она поднялась в автобус и остановилась у

автоматической кассы, ожидая меня. Дверь закрылась, и автобус тронулся с места.

Наша остановка – вторая на маршруте. Поэтому в автобусе достаточно свободных мест. Она села у окна, как обычно, и кинула взгляд на место рядом с собой.

– Я вам так благодарна, – тихо сказала она и стала оправдываться: – Я была уверена, что положила проездной в новую сумочку.

– Бывает, – стал я ее успокаивать.

– Я уже хотела вернуться домой, но заметила вас...

– Вот и замечательно, мы же тут встречаемся почти каждое утро.

– Верно... Тем не менее, каждый углублен в свои проблемы уже с раннего утра.

Она говорила, словно не обращаясь ко мне, опустил глаза к сумочке, лежавшей на коленях. На лице еще блуждала смущенная улыбка, а руки нервно перебирали плетеные кожаные ручки сумочки. Ее ухоженные длинные ногти были покрыты лаком того же цвета, что и ее бордовая губная помада. Лишь кожа ее рук, на которой еле заметны были пигментные пятнышки, напоминала о том, что время оставляет свои отчетливые следы.

– Вы, конечно, едете до сабвея? – спросил я.

Она кивнула.

– Я спрашиваю потому, что ваш билет в моих руках.

– Спасибо, мне все равно придется купить другую карточку.

С того памятного дня мы уже вместе ехали в Манхэттен в одном вагоне. Она ехала дальше меня, но я не спрашивал, до какой станции. Я и позже этого не делал, когда мы уже успели о многом переговорить и порассказать друг другу, естественно, без определенной цели, как это случается в дороге с временным попутчиком. Встречи, впрессованные в рамки примерно одного часа езды, невозможно было увязать с определенным смыслом, и если в самом деле означали что-то, то чуточку больше,

чем праздная болтовня о том, о сём, что в голову придет. Ведь это была та самая женщина, на которую я, как говорится, положил глаз, даже пытался читать ее лицо...

Звали ее Лия, и приехала она в Штаты в начале 1990-х годов из Риги, которая на моей шкале считалась почти западным городом. Она окончила университет, стала преподавать английский язык. В Америке ее семья первые три года жила в Детройте. У ее мужа там обитал брат, прибывший в Америку лет на пятнадцать раньше и уже хорошо стоявший на ногах. Но не зря говорят, что с родными лучше все-таки держать дистанцию. Да, потом в Нью-Йорке муж тянул ляжку, а она пока поступила в колледж и освоила профессию социального работника. Короче говоря, эмигрантские испытания, какие пришлось изведать каждому из нас, чтобы через много лет диву даёшься – неужели мы одолели все эти ступени?!

Говорили и о сегодняшнем дне, о детях и внуках, и каждый раз возвращались в отдалившееся вчера, сближавшее нас. Там, в той жизни, оставшейся за плечами, память – некое дремлющее загадочное существо, которое может вдруг проснуться от одного прикосновения, похожего на поцелуй в губы сказочного принца, - там, в далеком прошлом, все было так знакомо, все жили схожей жизнью, примерно на том же уровне, читали те же самые книги и газеты, смотрели те же самые фильмы и телевизионные передачи, пели те же песни, одевались в похожую одежду, наслаждались всего лишь несколькими видами мороженого, что продавались на просторах всей страны... Короче говоря, эта «тажесамость» объединяла все поколения и формировала у них коллективное сознание, как в романе-антиутопии.

– Первые несколько лет я очень скучала по дому, хотя никакого дома уже не было... Скучала по своему городу, - тихо струилась речь Лии, – может, потому что здесь все было чужое, наверно, сами знаете по своему опыту... Приходилось внушать себе, что я сюда не в гости

приехала... Твердила себе: вживайся, хватайся за любой шанс и держись наплаву всеми силами... И помогли как бы сами эти ежедневные трудности, которые приходилось одолевать. Шла сквозь испытания, страшивая с себя тоску и неурядицы, борясь с тяготами.

– Вы отсюда еще возвращались в Ригу?

– Да, два года назад, у меня там близкая подруга... – Помолчав мгновение, словно прислушиваясь к стуку колес, она продолжала: - Знаете, мне показалось, что здания те же самые, улицы и переулки те же, как прежде, но бывшее как-то изменилось... Город, который я люблю, моя Рига словно скрылась в тумане, превратилась в заколдованный терем, где в самой высокой светлице живет девочка с куклой.

– И она, конечно, мечтает, – добавил я в такт ее рассказу, - мечтает, что придет обворожительный принц на белом коне и освободит из терема с высокой башней.

Мы оба рассмеялись и, кажется, совсем забыли, где находимся и куда едем.

– Откуда вы знаете про принца?

Впервые за несколько дней нашего знакомства и общения у меня возникло щемящее чувство, когда хочется ущипнуть себя для того, чтобы убедиться – это явь, а не сон. И все же я еще не верил в действительность, сновидение казалось сильней.

– Я это знаю, потому что все девочки мечтают о принце на белом коне.

Поезд приблизился к моей остановке, и после прощания с Лией произошло то, что происходит во все дни недели, – будничные заботы загнали меня в узкую нишу моих профессиональных обязанностей, вытеснив все утренние переживания до следующего дня.

Я начал замечать, что утром тороплюсь выйти из дому, каждый раз поглядывая на ручные часы, словно боюсь опоздать на важную встречу. Далекое щемящее чувство стало напоминать о себе все чаще и чаще. Оно вдруг

пробудило воспоминания о моем детстве, картины и слова, давно забытые мной... Леечка, грустная девочка с ее всегда больной куклой на руках, ее сказочки-ужастики со счастливым концом, последняя встреча с ней и прощание навсегда, как она тогда сказала. Тот счастливый день начала учебного года был омрачен ее неожиданным отъездом. Кажется, я впервые тогда почувствовал, что такое разлука.

Бабушка рассказала мне, что Леечка родилась с болезнью сердца, и единственное, что могло ей помочь – операция. В тот день 1-го сентября ее родители получили сообщение, что подросла очередь проделать их дочери такую операцию. Леечка с мамой уехали в Одессу, где все должно было произойти. Вскоре вслед за ними поехал и отец Леи. Больше я о них никогда не слышал.

Но какое отношение имела Лея к Лие? И разве так важно связать в один клубок два конца жизненных нитей, если один из них оборван в моем детстве, а другой я еле ухватил? И что делать со временем, с этими почти шестью десятками лет, пролетевших с того первого сентября? Поле, которое не перейти, не перепрыгнуть.

Лея и Лия, – возможно, это случайное совпадение, не более, чем метаморфоза еврейских имен, – смешно? Или достаточно напомнить Лие тот детский поцелуй перед разлукой?! Да и вспомнит ли она вообще то тяжелое время своего детства? Тем не менее, я ее осторожно спросил, является ли она уроженкой Риги?

– Нет, в Риге я выросла, а родители мои туда переехали, когда я была маленькой.

– Откуда? - ухватился я за ниточку. – Вы помните?

– К сожалению, нет... – она, должно быть, заметила мое внезапно вспыхнувшее любопытство и добавила, словно извиняясь: – Мои родители вообще редко вспоминали ту пору... А мама умерла в прошлом году...

Как знать, может, в самом деле, не всегда уместно пробуждать дремлющее существо, имя которому – память.

Говорят же, что если, как зерно в почву, посеять маленький секрет, из него прорастет надежда, и когда наступит подходящее время, все обернется добром.

Перевел с идиша Михаил Хазин

Борис Сандлер – главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты — *Форвертс* (Нью-Йорк). Автор 14 книг прозы и сборников стихов. Родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при Литинституте им. Горького (Москва, 1981-1983) работал на Молдавском телевидении, где вел программу — *На еврейской улице*. В 1992 году репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском университете (Иерусалим), возглавляет издательство — *Лейвик-фарлаг*; издает единственный в мире детский журнал на идише — *Киндункейт*.

С 1998 года живет в Нью-Йорке. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных литературных премий.

ЛАРИСА ИЦКОВИЧ

О том и об этом

Рифмы скачут, беснуясь в мозгу,
Упреждая картины сюжета, –
Вот о том рассказать я могу,
И об этом хочу... и об этом...
Я иду, как по нотной строке,
Раздвигая созвучий торосы, –
То ли выйдет "Рассвет на реке",
То ли гамлетовские вопросы...
Дирижерской рукою унять,
Словом к слову расставить акценты...
И пустить их по свету гулять,
И не ждать за работу ни цента.

Красота не спасет мир

Красота перед злом очевидного
Беззащитна сама до обидного,
Не спасает она от страдания,
Хоть в основе лежит мироздания.
Не укрыла краса поднебесная
Нас от банды с похабными песнями,
А под звуки чарующей музыки
К крематориям двигались узники.
Если б ей нас спасти было просто,
Не дымилась бы кровь Холокоста,
Если б щит красота приносила,
Не сгорела б в огне Хиросима.
Беззащитна она перед хамами,
Ей не жить под разбитыми храмами.
Нашей силой, а не словесами
Мы должны убереечь её сами!

Грустный вальс

От Второй мировой и до Третьей

Нашей жизни промчались две трети,
Но последнюю треть
Хоть глазком посмотреть,
Нам, наверно, уже не успеть.
От Второй мировой и до Третьей
Нам рожали внучат наши дети,
Но для правнуков петъ
И любовью их греть,
Нам, наверно, уже не успеть.
От Второй мировой и до Третьей
Нас опутали ядерной сетью,
Но порвать эту сеть,
Чтоб в огне не сгореть,
Нам, наверно, уже не успеть!

In vino veritas?

Ищите истину в вине.
Она, как водится, на дне
Сокрыта, или как в огне
Горячий малый уголёк,
Что весь пожар собой навлѣк.
И как узнать, где чья вина,
Когда она не вдруг видна?
Предвзятость мнения страшна:
Не возложить бы всю вину
Всердцах на сторону одну!
Вину вином не заливай –
Недолговечен пьяный рай.
Обидой ум не растравляй,
Тогда поймѣшь, взглянув извне,
Что истина – в твоей вине.

Пророчество

День грядѣт: отболит наболевшее,

Онемеют уста говорящие,
И отвергнут еду непоевшие,
И ослепнут вперёдсмотрящие,
И исторгнут крик бессловесные,
Беззаботные озаботятся
Беззащитною плотью телесною,
И святые к стене отворотятся.
Станет воздух у ртов душным воротом,
А простор наш земной – тесной клеткою,
И появится в небе распоротом
Неизбежное чёрной меткою.

Лариса Ицкович родилась в Азербайджане, выросла на Украине, зрелые годы провела в Белоруссии. Физико-химик по специальности, до 1993 года работала преподавателем и научным сотрудником Белорусского политехнического института. С 1994 года живет в Чикаго.

Публиковалась в американских русскоязычных газетах, в израильской газете "Еврейский камертон", в журналах "Литературный европеец" и "Мосты", Германия, в поэтическом альманахе "Связь времен", США, в сборниках стихов: Лариса Ицкович, Семен Ицкович, "Откровение", Чикаго, 2009; Лариса Ицкович, "Бабье лето", Чикаго, 2013. В журнале "Время и место" это уже пятая ее публикация.

ИГОРЬ ШИХМАН

НАЗНАЧЕН В ГЕРОИ

История человека, якобы поставившего точку в самой кровопролитной войне человечества

Неожиданный, пронзительный до истеричности, сигнал заставил вздрогнуть и оторваться от работы. Звонил телефон, стоявший на столе заведующего отделом – прямая связь с главным редактором. Черный аппарат, не имевший наборного диска. Этот вид связи существовал на разных уровнях. Каждый начальник стремился любой ценой завести в возглавляемом им учреждении эту систему. Еще была система так называемой правительственной связи, у нее были аппараты с государственным гербом. Иметь такой телефон в кабинете могли лишь избранные. Он определял принадлежность к небожителям и служил высшим индексом доверия партии. Все эти системы в обиходе назывались «вертушками».

Мне на своем веку довелось вдоволь наслушаться их трелей. Все они, словно по специальному указанию, были резкими и пронзительными, как полицейская и пожарная сирена. Один мой коллега, сын академика и известного советского психиатра, удивительно метко назвал звонки «вертушек» «психотропным средством подавления воли подчиненных». В этом была немалая доля истины.

Пока я размышлял, аппарат продолжал звонить. Пока не дошло, что я единственный в комнате и некому, кроме меня, ответить главному редактору.

Услышав мой голос, он сначала бросил реплику про спящее царство, но узнав, что моего шефа нет на месте, сменил тон.

– Собственно, ты мне и нужен, – сказал он. – Зайди ко мне.

На ум тут же опять пришла фраза по поводу подавления воли подчиненных. Правда, с волей все было в порядке. Тем не менее, немедленно припомнились все грешки,

опечатки и ошибки, которые я мог допустить за последние дни. Вроде ничего серьезного, что могло вызвать повышенный интерес главреда к моей персоне.

Наш главный редактор Виктор Яковлевич Пушкарев, несмотря на то, что прошел иезуитскую школу аппарата ЦК КПСС, сохранил порядочность и уважительное отношение к людям, включая подчиненных. Он был начисто лишен предрассудков партийных бонз, в том числе антисемитизма. Ценил сотрудников по способностям. Не случайно треть творческих работников были евреями. Мы знали, что время от времени это обстоятельство ставилось ему в укор, но Пушкарев каким-то образом умудрялся решать проблему, не давая нашего брата в обиду.

Разговор он начал с пустяков – вопросов, которыми обычно главный не интересовался. Это слегка смутило и я, слушая его, гадал, что же Пушкарев приготовил напоследок. У партаппаратчиков была манера говорить о важном в самом конце беседы. Как бы между прочим.

Наконец, наступил момент истины.

– Ты на неделю освобождаешься от работы в отделе. Завтра поставлю в известность Андреева (завотделом), – сказал главный. – Будешь участвовать в проведении встречи Героев.

Минуту-другую помолчал, рассматривая меня в упор, и добавил;

– Задание у тебя весьма деликатное. Послезавтра встретишь во «Внуково» Мелитона Варламовича Кантария и будешь его опекать всю неделю. Надеюсь, ты знаешь, кто он?

Вопрос был явно неуместным. Еще бы не знать Кантария?! Я, выросший в семье кадрового офицера, был воспитан в духе преклонения перед ратными подвигами.

...Этот разговор состоялся зимой 1975 года, в канун 30-летия Победы, когда в стране развернулась в полном смысле слова грандиозная подготовка к празднованию

знаменательной даты. Прежде с такой помпой этот праздник не отмечали.

Я хорошо помню период правления Хрущева. К моменту его смещения уже учился на факультете журналистики. Никита Сергеевич, лично виновный в ряде серьезных, граничивших с катастрофой, поражений Красной Армии, не любил вспоминать о войне. Некоторые военные историки считают, что он чудом избежал участи генералов, расстрелянных за ошибки, допущенные на начальном этапе войны. Именно Хрущев, став полновластным хозяином Кремля, утвердил в обществе, мягко говоря, неуважительное отношение к фронтовикам. Хорошо помню то время, когда отец и его товарищи стали избегать надевать даже по праздникам ордена и медали. Кто-то на улице мог запросто бросить в лицо колкость по поводу напыленных погрешек.

Хрущев боялся армии. Особенно после устранения им Жукова. В свою очередь, офицерский корпус тихо ненавидел Никиту Сергеевича. Он отвечал тем же.

Эпоха Брежнева ознаменовалась диаметрально противоположным отношением к войне и ратным подвигам. Он считал войну своим звездным часом, позволившим ему, обыкновенному партийному секретарю, каких сотни, а может, и тысячи, блеснуть, попасться на глаза Сталину и начать восхождение к вершине власти. Помпезное празднование 30-ой годовщины давало Брежневу шанс еще громче заявить о своем особом, выдающемся вкладе в разгром фашизма. Поэтому средств на проведение юбилея не жалели. К его подготовке привлекли весь идеологический аппарат государства.

Наша газета «Советская торговля» с благословения Центрального Комитета внесла свою лепту в эту эпопею. Была организована встреча Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, работавших в торговой сфере. Таких набралось сорок четыре человека, в том

числе Кантария, числившийся заведующим мясного магазина на колхозном рынке в Сухуми.

...Главный выдержал довольно продолжительную паузу, видимо, давая мне время осмыслить значимость поручения. Потом взялся за отложенные на время разговора бумаги, тем самым давая понять, что я свободен.

– Еще одно: не задавай ему лишних вопросов. Прежде всего, о штурме Рейхстага, – поставил точку в разговоре Пушкарев.

Словно почувствовав мое недоумение, главный добавил:

– Об этом настоятельно посоветовали в ЦК.

Очень подмывало спросить, чем это вызвано, но сдержался. Оставалось теряться в догадках.

На следующий день покопался в редакционной библиотеке, пытаюсь разжиться дополнительной информацией о человека, которого предстояло опекать. В душе надеялся, что удастся пролить хоть какой-то свет на непонятные рекомендации, полученные от главного. Однако ничего нового, кроме известных фактов, раздобыть не удалось.

Мне в детстве часто повторяли пословицу «утро вечера мудренее». Сначала родители, потом школьные учителя. В моей истории мудренее оказался вечер.

Когда в конце дня редакция опустела, я заглянул к заведующему отделом информации Саше Фридлянскому, любившему задержаться допоздна, чтобы поработать в спокойной обстановке.

Александр Натанович был моим учителем и наставником в журналистике. Сам начинал в армии фотокорреспондентом. С «лейкой» прошел дорогами войны от первого до последнего дня. Еще успел поучаствовать в разгроме японцев.

Фронтовые пути свели и подружили Сашу со многими видными военачальниками и журналистами, ставшими впоследствии известными писателями. В частности,

Константин Симонов в своих мемуарах посвятил ему целую главу.

Войдя к нему в кабинет, я не поверил собственным глазам. Удача шла мне навстречу. За огромным Сашиным старинным столом (он, ветеран газеты, утверждал, что до него обладателем стола являлся Анастас Иванович Микоян в его бытность наркомом торговли СССР) сидели три человека – легендарные фотокорры Великой Отечественной войны Марк Редькин, Яков Рюмкин и Виктор Темин. Их снимки поверженного Рейхстага обошли газеты и журналы всего мира.

Последний из них даже умудрился из личного самолета маршала Жукова на бреющем полете снять Знамя Победы. Потом он уговорил экипаж (всезнающие коллеги утверждали, что это стоило Темину нескольких ящиков водки) лететь в Москву. В «Правде», которую он представлял, экстренно проявили фотопленку и фото пошло в номер. Дождавшись тиража, фотокорр взял несколько пачек газет и помчался на Центральный аэродром, где его ждал трясущийся от страха в буквальном смысле слова экипаж.

Маршал, прознав о самовольстве корреспондента, был взбешен. Порученцы военачальника – приятели Виктора потом рассказывали ему, что Жуков грозился отдать правдиста под трибунал. Темина спасло то, что по жизни он был не только классным фотокорром, но и большим хитрецом. Фотокорр попросил пилота на обратном пути до посадки пролететь на бреющем полете над центром Берлина, где концентрировались советские штурмовые части. В открытый люк он сбрасывал пачки «Правды» прямо на головы солдат и офицеров. Узнав об этом, Жуков сменив гнев на милость и простил Темина.

Спустя годы, когда Виктора Антоновича не стало, выяснилось, что с его историческим снимком тоже не все чисто. Темин сфотографировал разбитый купол Рейхстага, а Знамя уже дорисовал искусный правдистский ретушер.

Тогда-то мне стало понятно почему другой фронтовой друг Фридлянского – известный поэт Евгений Долматовский подтрунивал над вездесущими военными фотокарами, в частности, над Теминым.

...Четверка старинных товарищей собралась, чтобы отобрать фронтовые снимки для альбома, готовящегося к выпуску в издательстве «Молодая гвардия». Поняв, что лучших источников информации мне не сыскать, я тут же изложил разговор с Пушкаревым.

Первым откликнулся Темин.

– Чего удивляешься? – сказал Виктор Антонович. – Кантария если что говорит публично – то по шпаргалке, которую ему пишут.

Марк Редькин утвердительно кивнул головой, подтверждая справедливость сказанного.

После короткой паузы друзья Фридлянского заговорили все сразу, дополняя друг друга. Благо люди, прошедшие дорогами войны, идеально помнили события давно минувших дней, словно это было вчера. Из их коллективного рассказа у меня сложилась полная картина водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Тогда это было откровением, напрочь опровергавшим официальную версию. Сейчас все доподлинно известно, но тогда... Я все коротко перескажу, как все было. Подчеркну, что не пытаюсь открыть Америку.

...29 апреля утром вплотную к Рейхстагу подошли подразделения 150-ой и 171-ой стрелковых дивизий 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта. Последний оплот гитлеровского режима обороняли отборные войска, встретившие советских воинов ураганным огнем.

Следующим утром батальоны обеих дивизий предприняли отчаянную попытку овладеть зданием, превращенным в неприступную крепость. Осажденные мощным огнем отразили первый штурм.

В 13.30 после интенсивной артподготовки советские части начали вторую атаку. Юрий Левитан сообщил по Всесоюзному радио, что в 14.25 30 апреля над последним оплотом фашизма поднято красное знамя. На самом деле это случилось значительно позже, только поздним вечером. Оплотность вышла из-за поспешности командира 150-ой дивизии генерала Шатилова, выдавшего желаемое за действительность и доложившего командарму, а тот по инстанции дальше.

К первому Знамени, появившемуся над Рейхстагом, подразделения обеих дивизий, штурмовавших здание, не имели никакого отношения. Его водрузила пятерка отважных воинов капитана Владимира Макова из 135-ой Режецкой Краснознаменной артиллерийской бригады. С ним шли старшие сержанты Алексей Бобров, Гази Загитов, Александр Лисименко и сержант Михаил Минин.

Во всех частях, находившихся на подступах к Рейхстагу, были заготовлены красные стяги, и каждый командир в душе надеялся, что именно его флаг станет Знаменем Победы.

Пятерка смельчаков боем брала каждый лестничный пролет. Падали убитые гитлеровцы, а бойцы Макова, словно заговоренные, рвались вперед. Наконец, над крышей Рейхстага взвился красный стяг. Это произошло 30 апреля в 22 часа 40 минут. Бой не утихал. Группа капитана Макова до пяти часов утра 1 мая охраняла флаг. Вслед за ними еще несколько штурмовых групп водрузили стяги.

Батальон капитана Неустроева, в котором служили разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария, шел во втором эшелоне наступления. Фактически на их долю выпало зачищать здание, уничтожая разрозненные группы немцев. Для надежности комбат поручил возглавить две роты, шедшие в качестве прикрытия официальных знаменосцев (прошу обратить внимание: была группа прикрытия!) своему замполиту Алексею Бересту,

любимцу батальона, человеку необыкновенного мужества. Неустроев был уверен, что тот не подведет. Так и произошло. Лейтенант благополучно провел группу, собственноручно выломал проход на крышу к куполу здания. Кантария, забравшись к нему на плечи, закрепил Знамя.

Затронутая тема не на шутку взволновала моих собеседников. Они говорили горячо, порой на повышенных тонах, вспоминая какие-то детали и подробности. Похоже, все трое впервые откровенно говорили о событии, не дававшем покоя долгое время. Марк Редькин, между прочим, сообщил, что им, репортерам, в свое время рекомендовали меньше распространяться о тех событиях. Мол, есть официальная версия, ее и придерживайтесь.

– Кто рекомендовал? – спросил я.

– Была такая служба СМЕРШ, – ответил Редькин.

Рассказ ветеранов внес определенную ясность, но как следствие, возник новый вопрос: Кантария – грузин, официальный знаменосец, это случайность или чье-то желание выслужиться, потрафить вождю народов?

По общему мнению троицы репортеров, это была инициатива, пришедшая откуда-то сверху. Как утверждал Яков Рюмкин, ему о том, что Знамя будет обязательно водружать грузин, стало известно 27 или 28 апреля. Точную дату он не помнил. В один из тех дней он заглянул в политотдел 3-ей ударной армии, но поговорить с его начальником полковником Лисициным не удалось.

– Не суйся к нему, – посоветовал знакомый капитан, случайно встретившийся в коридоре. – Попадешься под горячую руку. Мы ищем достойного грузина. Хоть из Москвы Василия Сталина выписывай...

Капитан, не вдаваясь в подробности, рассказал о команде сверху по поводу предстоящего водружения Знамени.

– Это сделают русский и грузин, – подчеркнул офицер.

Рюмкин еще раз специально наведился в политотдел 29 апреля, когда взятие Рейхстага было делом ближайших часов. Он пытался разузнать имена назначенных в герои, чтобы заранее запастись их фотографиями. На фронте между фотокорреспондентами все время шла негласная конкуренция, и тут у Рюмкина появилась реальная возможность «вставить фитиль» коллегам. Однако уловка не удалась. В политотделе никто ничего не знал об официальных знаменосцах или делал вид. Офицера же, накануне сболтнувшего важную информацию, не оказалось на месте. Его направили в один из наступающих на Рейхстаг полков.

Из этого рассказа следовало, что директива была спущена из штаба 1-го Белорусского фронта. Мое предположение, что это было сделано по приказу Жукова, немедленно и категорично отвергли все четверо ветеранов. По их общему мнению, при всех недостатках Маршал обладал важным достоинством: никогда не пресмыкался перед Сталиным и не добивался его покровительства. Под стать ему был и член Военного Совета генерал Телегин – главный комиссар и идеолог фронта. В эти горячие дни у обоих были куда более значимые заботы. Вероятнее всего, директива последовала из Москвы.

Информации, полученной в тот вечер, с лихвой хватило бы на захватывающую книгу. Однако чем глубже мне удавалось проникнуть в тему, тем больше возникало вопросов.

...Самолет, на котором прилетел Кантария, приземлился точно по расписанию. Он, благодаря стараниям аэрофлотовских служащих, узнавших его, вышел первым. Знакомимся. Оказалось, что Мелитон Варламович прилетел не один. С ним прибыл племянник, у которого тоже были важные дела в Москве. Родственник решил

совместить полезное с приятным и вызвался сопроводить дядю в столицу.

Когда на подъезде к Москве шофер поинтересовался, куда везти племянника, возникла непредвиденная проблема. Оказалось, что его надо разместить вместе с дядей в гостинице «Россия», где будут жить участники встречи. Кантария тут же предупредил, что родственник – солидный человек и ему требуется, по меньшей мере, полулюкс.

Сорок лет назад, в обстановке жесточайшего дефицита гостиничных мест в столице, это выглядело почти неразрешимой задачей, во всяком случае, для меня, рядового корреспондента. В то время разместить человека даже в одной из примитивных гостиниц ВДНХ, которые москвичи с иронией называли Домами колхозников, можно было или по блату, или за взятку.

Мне было известно, сколько было приложено усилий, чтобы за месяц до нашего мероприятия забронировать номера для его участников. Потребовалось даже вмешательство горкома партии. Видя категоричность и настойчивость Кантария, я не взял тогда на себя смелость объяснять ему ситуацию. Даю шоферу команду ехать в редакцию, благо она находилась в двухстах метрах от гостиницы.

Мелитон Варламович стал расспрашивать о программе мероприятия, уделив особое внимание встречам с руководителями отрасли – министрами торговли страны и России, а также с председателями правлений Центросоюза и Роспотребсоюза.

По ходу он все переводил «племяннику», видимо, слабо владевшим русским языком. Я не случайно взял слово в кавычки. У меня среди грузин было немало друзей и приятелей. Я бывал у них дома, имел возможность неоднократно наблюдать их в общении между собой. Всегда восхищался, с каким почтением младшие относятся к старшим. Контакт между Кантария и его спутником

коренным образом отличался от виденного прежде. «Племянник» не испытывал никакого особого почтения к человеку гораздо старше его, скорее Кантария заискивал перед ним.

Спустя какое-то время выяснилось, что я не ошибся. Тбилисский фотокорреспондент Георгий Гогохия, знавший подноготную всех заметных персон Грузии, подтвердил мою догадку. Мнимый родственник оказался известным в Абхазии цеховиком. Вероятно, Мелитон Варламович взялся разместить его в хорошей гостинице и помочь попасть к влиятельным союзным чиновникам. Разумеется, не за красивые глаза, объяснил тот же Гогохия.

Заместитель главного, к которому я явился вместе с Кантария, был ошарашен, но виду не подал. Именно он месяц занимался бронированием.

Оставляем грузинских гостей на попечении секретарши Вали с наказом не жалеть цейлонского чая и дефицитных импортных конфет, припасенных на этот случай, а сами отправляемся в соседний кабинет обсуждать положение. К нам присоединяются еще двое сотрудников, занятых приемом гостей.

Ситуация дурацкая. Послать историческую личность куда подальше опасно. Может обидеться и уехать, а ведь он – гвоздь программы. Звонить в партийные органы – нас точно «пошлют». Потом при случае припомнят безынициативность. Кто-то вспоминает о «палочке-выручалочке» – директоре комбината питания гостиницы. Ему подчинялись все рестораны, буфеты и бары «России». По тем брежневским временам серьезная фигура.

Наудачу директор оказался на месте и вошел в наше положение. Правда, без особых эмоций. Даже имя нашего именитого гостя не произвело должного эффекта. Судя по реакции, у него за день набиралось немало подобных звонков. Директор только попросил полчаса и слово сдержал. Однако так называемому племяннику пришлось

довольствоваться скромным одноместным номером. Между ним и Мелитоном Варламовичем у нас на глазах произошло объяснение по-грузински на повышенных тонах. Совершенно не типичное для грузин-родственников.

Облегченно выдохнуть удалось, только когда Кантария занял предназначенный ему номер, и мы отужинали. По просьбе гостя в его распоряжении осталась редакционная «Волга». У него были уже назначены встречи, но мое присутствие не требовалось. Казалось, проблемы позади. Утром выяснилось, что я заблуждался.

Кантария встретил меня охами и ахами. Выяснилось, что вечером, когда мы расстались, у него пропала ондатровая шапка и теперь ему требуются два(!) таких головных убора.

Легенда об украденной шапке у такой легендарной личности выглядела полным бредом. Я не удосужился выслушать Мелитона Варламовича, пытавшегося поведать обстоятельства пропажи, и даже не поинтересовался, почему вместо одного головного убора требуется два. Воспринял очередную проблему как должное и осознал, что с этим человеком покоя у меня не будет.

Кантария настоятельно просил отвести его в ГУМ в 200-ую секцию, где наверняка есть ондатровые шапки. В те времена в главном универмаге страны действовал кремлевский распределитель – так называемая двухсотая секция. Проработав в «Советской торговле» четверть века, я никогда не был в ней и посему знаю, что и как там было, лишь понаслышке. Туда допускались избранные. Об этой секции ходили легенды. Допускаю, что в них было больше домысла, чем правды. Молва утверждала, что двухсотая по ассортименту могла соперничать с лучшими торговыми домами Лондона, Парижа или Нью-Йорка.

Как известно, рыба портится с головы. По примеру московской партийной элиты такие «лавочки», только поскромнее, открывались в республиках и областях.

Кантария наивно полагал, что удостоверение корреспондента торговой газеты откроет мне и ему путь к вожделенным прилавкам. По выражению его лица стало ясно, что объяснять ему положение дел, разубеждать – дело безнадежное и неблагодарное.

Наш день опять начался с редакции, хотя ждали нас в техникуме общественного питания. Заместитель главного – мой куратор без слов понял, что проблемы ходят табуном. Выслушав Мелитона Варламовича, он дипломатично заметил:

– Обойдемся без двухсотой.

Чем весьма расстроил гостя, демонстративно не скрывавшего своего разочарования. Видимо, в душе он заранее уверовал во всеилие сотрудников главной торговой газеты страны. Заместитель отправился держать совет с главным редактором.

Эти чертовы ондатровые шапки в те времена были диким дефицитом, распределяемым партийными инстанциями. Главный позвонил директору Петровского пассажа Фокину, с которым у него были дружеские отношения. Повторять версию Кантария постеснялся, уж больно неправдоподобной она выглядела. Рассказал о предстоящей встрече и сообщил, что у двух участников на этой недели дни рождения: нужны подарки. В те советские времена ондатровая шапка считалась лучшим подарком.

Фокин оказался на редкость отзывчивым человеком и пообещал помочь. В его универмаге нужных головных уборов не оказалось, но путем сложных обменов (испытанная советская система: ты мне – я тебе!) к середине рабочего дня Мелитон Варламович стал обладателем злополучных шапок.

К этому времени в коридорах и кабинетах редакции стало оживленно и многолюдно. Съехались все участники

встречи. Их было сорок четыре человека – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Все приблизительно одного возраста, со схожими биографиями, общительные и радушные. Они быстро перезнакомились и по фронтовой привычке сразу перешли на «ты». После короткой беседы – официально встреча начиналась утром следующего дня – участники пешком отправились на ужин. Благо до гостиницы было рукой подать.

Все уселись за двумя длинными, заранее приготовленными столами, без всякого соблюдения протокола. Посетители ресторана, среди которых оказалось много иностранцев, оторопели от такого количества золотых звезд. Они подходили к столу, пожимали руки ветеранам и просили разрешения сфотографироваться. Нам, устроителям встречи и персоналу ресторана, потребовалось немало усилий, чтобы навести порядок и корректно, не обижая никого, закончить импровизированную фотосессию.

Когда все успокоилось, обнаружилась пропажа моего подопечного. Выяснилось: сразу после беседы в редакции Мелитон Варламович попросил машину у главного редактора и уехал, сославшись, что должен навестить больного родственника. (Так продолжалось все четыре дня нашего мероприятия – после официальной части он исчезал. Менялись только предлоги).

В тот первый вечер мы допоздна засиделись в ресторане, но нашим гостям не хотелось расходиться. Перешли в большой штабной номер, выделенный в распоряжение редакции на эти дни. Тут случилось невероятное. Оказалось, что все участники встречи приехали в столицу с торбами провизии и, конечно, спиртного. Вероятно, сказала фронтальная привычка, что запас карман не тянет. За несколько минут общими усилиями вновь был накрыт стол, ломящийся от яств. Украинское сало лежало рядом с астраханским балыком, рижских копченых кур дополняли

аппетитные помидоры из узбекского Термеза, сибирский муксун соседствовал с вяленой карельской оленьей.

Сейчас вспоминая тот вечер, становится грустно и досадно. За столом сидели братья по оружию, совместными нечеловеческими усилиями разгромившие грозного и страшного врага. Тогда никому в голову не приходило выяснять, кто больше сделал для Победы, чьи жертвы были страшнее. Каждый делал свою работу. Они сидели за одним столом, пили горькую, поминая тех, кто не дожил до Победы. В самом кошмарном сне им не могло привидеться, что их дети и внуки будут воевать между собой, выдвигать взаимные территориальные претензии.

...Утром в положенное время Мелитон Варламович появился на завтрак. Так повторялось на протяжении всей недели. Вечером незаметно исчезал, а утром был на месте. После завтрака вместе со всеми садился в автобус и отправлялся на протокольные мероприятия. В глаза бросалась закономерность в его поведении: Кантария в автобусе избегал занимать место рядом с участниками встречи, любой способом стараясь сесть с кем-то из редакционных. Если кто-то из ветеранов пытался с ним заговорить, он немедленно замыкался, уклоняясь от беседы.

Помимо дежурных официальных церемоний в ЦК партии и комсомола, штабе советских профсоюзов и в прочих госучреждениях, у Героев было много интересных и запоминающихся встреч. Особенно охотно наши гости выступали перед молодежью. Говорили от души, без пафоса, словно разговаривали со своими детьми или внуками.

Мелитон Варламович присутствовал, но молчал. Молчал первый день, второй, третий. Кто-то был склонен это объяснять его природной молчаливостью и стеснением за свой акцент. Свидетельствую: он не был молчуном.

Оживлялся, когда из разговора можно было извлечь какую-либо выгоду. Стыдиться акцента у него не было оснований. Кантария сносно владел русским языком и это не удивительно. Семь лет прослужил в армии, когда русский был для него единственным языком общения. После демобилизации часто приезжал в Москву.

Почти для половины участников русский язык был не родным, иногда от волнения путали слова, но никто не обращал на это внимание. Овацями провожали аудитории выступления Героев Советского Союза летчиков: азербайджанца Адила Кулиева и грузина Георгия Инасаридзе, артиллериста узбека Сульги Лутфуллина...

Прошло более сорока лет, но я помню, словно слышал вчера, рассказ Героя армянина Сарибекка Чилингаряна. Он восемнадцатилетним юношей из глубокой армянской деревни в 43-ем попал на фронт. Воевал в пехоте. В апреле 45-го в составе 23-ей дивизии той же третьей ударной армии рвался к германской столице. В боях на подступах к Берлину в районе городка Бушхоф первым переплыл канал и вместе с группой бойцов занял господствующую высоту. Владение ею обеспечивало стратегическую инициативу на этом направлении. Семь суток, с 16 по 23 апреля горстка воинов во главе с Сарибекком (офицеры и сержанты подразделения погибли при переправе) отражали яростные атаки противника. Он лично подбил два танка и уничтожил много живой силы. Начальник штаба 1-го фронта генерал Малинин, восхищенный мужеством двадцатилетнего солдата, лично представил рядового Чилингаряна к высшей награде.

К слову об акценте. Известно, что талантливые актеры умеют выдерживать паузу. Она придает действию драматичность и эффектно воздействует на публику. Вероятно, Кантария не был известен этот испытанный артистический прием, паузу он не держал, но искусно пользовался собственным приемом – акцентом. В течение пяти дней у Мелитона Варламовича ломаный

говор появлялся в тот момент, когда он выступал в роли ходатая или просителя. Герой безошибочно знал, где и у кого можно получить блага. На встрече с профсоюзным руководством страны он равнодушно присутствовал, не проявляя интереса. Чем можно было разжиться в ВЦСПС? Разве что профсоюзной путевкой к Черному морю. Кантария и так жил на курорте в Сухуми.

Зато у союзного министра торговли он оживился. Сразу появилась сбивчивая речь и акцент. Расчет был предельно прост: как можно отказать такому простаку с национальной периферии, который ко всему еще и легендарная личность.

Поражала подготовка Кантария к каждой подобной аудиенции. Он за долгие годы детально изучил технологию общения с высокими государственными чиновниками и умело ее использовал. Никогда не расставался с папкой, которой обычно пользовались служащие средней руки. В ней были припасены разные письма с разными просьбами. Получив благосклонный ответ на свою просьбу, он немедленно клал на стол высокому чину бумагу, и хозяину кабинета ничего не оставалось делать, как наложить положительную начальственную визу. Дальше все было делом техники. Кантария собственноручно вручал документ с драгоценной резолюцией помощнику чиновника и дело было сделано.

Может сложиться ошибочное впечатление, что легендарная личность выступала в роли народного ходока, но это не так. Мелитон Варламович не просил импортного медицинского оборудования для родного города и не выбивал средства для строительства детских садов, в которых Сухуми испытывал острую нужду. Он пекся **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** о бытовом дефиците для частных лиц. За неделю им были добыты пара «жигулей», несколько японских телевизоров, какой-то супермодный в южной республике румынский мебельный гарнитур

ручной работы и еще что-то по мелочи. Все добытые им товары на черном рынке в Грузии стоили двойную цену.

Заодно выбил дополнительные фонды якобы для своего мясного магазина. По заверению специалистов минторга, их с лихвой хватило бы на всю торговую сеть Сухуми.

Я вырос в военных гарнизонах. Меня до четырнадцати лет окружали товарищи отца – фронтовики. Они были совершенно разными людьми, не похожими друг на друга, но их объединяло общее качество – скромность, умение обходиться малым. Вместе с отцом служил единственный в подразделении Герой Советского Союза летчик Савченко. Его семья, как и все офицерские семьи, ютилась в коммунальной квартире в десятиметровой комнате, несмотря на полагавшиеся ему по статусу привилегии.

Люди, приехавшие на встречу, были точно такими, как сослуживцы моего отца. Скромными, простыми и бесхитростными. Ни один из них не попросил у высоких московских чиновников ничего, хотя каждая аудиенция обычно (так было заведено!) заканчивалась вопросом:

– Какие личные пожелания или просьбы?

Сколько раз приходилось ловить укоризненные взгляды ветеранов, когда Мелитон Варламович затевал в очередной раз торг. Особенно горячился Герой Советского Союза Василий Филиппович Громаков, неоднократно пытавшийся вызвать Кантария на откровенный разговор (у него на это были основания!). В конце концов, ему это удастся, но об этом несколько позже.

Поражало умение Кантария добывать информацию о всяких закрытых распределителях, расплотившихся, словно грибы после слепого дождя, в брежневские времена. Наверно, сказывался опыт службы в разведке. На третий день он неожиданно заговорил о недочетах в программе мероприятия. Выяснилось, что мы – организаторы не предусмотрели встречи с работниками военной торговли.

- Если бы вы знали, как на фронте ждали приезда военторговской автолавки, - с укоризной сказал Мелитон Варламович и тут же выразил готовность выступить перед военторговцами. Причем, подчеркнул он, не в известном всем Центральном универмаге военного ведомства на Калининском проспекте, а в скромном гарнизонном магазине. Герой протянул листок бумаги с адресом. Тут же стала понятна его уловка.

Речь шла о гарнизонном универмаге, расположенном в спальном районе столицы Щукинское. Скромным он был лишь с виду и для непосвященных. В этом магазине существовал отдел выездной торговли, призванный обслуживать офицеров и членов их семей в отдаленных гарнизонах. В нарушение строжайшего запрета накапливать товары, особенно дефицитные импортные (это жестко каралось, вплоть до тюремного заключения!), здесь всегда имелись запасы. Исключение из правил действовало на основании особого совместного приказа министров обороны и торговли СССР.

Действительно военторговцы летали и торговали в отдаленных гарнизонах, но в большой мере отдел служил легальным прикрытием так называемой «генеральской секции». Распределителем, где отоваривались высшие чины армии и их домочадцы. Посетителям универмага, естественно, было невдомек, что под ногами, в подвальном помещении функционирует другое торговое предприятие с прекрасно оборудованными залами, примерочными и стеллажами с товаром, ассортимент которого коренным образом отличался от имеющегося в свободном доступе.

Вот куда нацелился попасть разведчик Кантария, но это не входило в планы оргпнизаторов. Сославшись на то, что военторг – армейская структура, в которой действует единоначалие, ему было предложено получить добро на выступление от главного начальника военной торговли генерала Гольдберга. Мелитон Варламович, не уловив

подвоха, охотно принял наше предложение. Более того, выразил готовность лично переговорить с генералом.

Звоню помощнику Гольдберга, с которым был знаком, и соединяю с ним Кантария, заранее зная, чем закончится разговор.

Несколько слов о генерале. Ефим Львович был очень интересной личностью. Прежде всего, он был на своем месте. Блестящий организатор, энергичный, деловой. Для него не существовало авторитетов. Его уверенность и независимость имели под собой серьезные основания. Он был из «днепропетровской когорты». Бытовало мнение, что еще до войны его жизненные пути пересеклись с Брежневым, который покровительствовал Гольдбергу.

Если взять во внимание некоторые факты биографии генерала, вероятно, так и было. Во-первых, все лица, занимавшие пост главного армейского торгового начальника, до и после Гольдберга были генерал-майорами, ему единственному было присвоено звание генерал-лейтенанта. Во-вторых, Ефима Ильича отправили в отставку после смерти Леонида Ильича в возрасте 76 лет. Рекорд даже для брежневской геронтократии.

Главный воинский торговец подбирал подчиненных под стать себе. Помощник Гольдберга, выслушав Кантария, ответил сухо и коротко:

– Генерал в войсках...

На просьбу Мелитона Варламовича соединить его с кем-то из заместителей, был дан категоричный ответ:

– У нас все решает генерал.

Словом, мы не попали в «скромный» гарнизонный универмаг.

Многих людей, в первую очередь, хорошо знавших Мелитона Варламовича, раздражало его, мягко говоря, некорректное поведение и хитрость, шитая белыми нитками. Ответственный работник союзного министерства торговли, выходец из Грузии, Самсон Басятович Чедия,

много общавшийся с Кантария, не скрывая возмущения, откровенно сказал мне:

– Его следовало бы держать в изоляции и выпускать на люди только по юбилейным датам.

Схожего мнения придерживался и председатель Грузинского потребсоюза Кита Николаевич Шавишвили. Мы с ним были знакомы и поддерживали добрые отношения много лет. Интеллигентный, тактичный и сдержанный, Кита Николаевич не смог сдержать эмоций, когда я однажды, желая услышать его мнение, завел разговор о Кантария.

– Какой он герой... По-моему, просто рвач. Вечно что-то клянчит. Хоть бы Золотую звезду снял.. С ней неудобно побираться..

Тбилисский фоторепортер Гогохия, уже упомянутый раньше, ходячая энциклопедия грузинского общества, утверждал, что Мелитон Варламович, используя свой особый статус, брался «выручать» из заключения получивших большие сроки криминальных авторитетов и цеховиков. Тех и других в советской Грузии было немало. Разумеется, «выручать» не бескорыстно. Он выходил на самые высокие инстанции – Верховный Суд СССР. Генеральную прокуратуру страны. Гогохия назвал несколько имен людей, известных в Тбилиси, успешно воспользовавшихся этой услугой.

Когда Кантарии не удавалось добиться амнистии или смягчения приговора, он, как рассказывали, отправлялся к очередному «подопечному» в места не столь отдаленные. Можно представить состояние начальника зоны где-то в мордовской или якутской тьмутаракани, когда на пороге его кабинета собственной персоной вырастал герой, водрузивший Знамя над Рейхстагом. Через пять минут весь персонал лагеря во главе с главным вертухаем стоял перед человеком-легендой по стойки «смирно». Они были счастливы узнать, что именно в их зоне отбывает наказание «племянник» или «двоюродный брат» (все

зависело от возраста клиента!) Мелитона Варламовича. Мнимого родственника немедленно избавляли от изнурительного труда на лесоповале, определяв его на теплое местечко в лагерную библиотеку или клуб. Как правило, начальник режима брал «родственника» под опеку.

Расставались Кантария с лагерным начальством большими друзьями. Предварительно он позировал на память, выступив перед зэками с рассказом о своем подвиге.

Не берусь утверждать, что все было именно так, но у меня есть основания, предполагать, что подобные ситуации возникали. Мне дважды довелось быть свидетелем телефонных звонков Мелитона Варламовича в приемную Генерального прокурора страны Руденко. Судя по разговору, Кантария был лично знаком с Руденко, а его помощник, взявший трубку, не впервые общался с Героем. Он настойчиво просил о личной встрече. На другом конце провода упорно пытались переадресовать просителя к чиновнику рангом пониже. Не знаю, чем кончился разговор, но редакционный водитель возил Кантария в Генеральную прокуратуру.

В таких случаях он умел действовать напористо, но свою настойчивость включал выборочно. Когда лейтенант Алексей Берест, на плечах которого Кантария выбрался на крышу Рейхстага, попал в беду и по сфабрикованному делу получил десятилетний срок, знаменитость не ударила палец о палец, чтобы помочь человеку, в буквальном смысле слова внесшем его в большую историю.

Бойцы и офицеры батальона капитана Неустроева встали стеной на защиту боевого товарища и добились смягчения наказания.

По свидетельству очевидцев, знавших Мелитона Варламовича по Сухуми, жил Герой на широкую ногу, никогда не испытывая нужды в деньгах. Хотя расходы у него были значительными. Всем было известно, он не

скрывал этот факт, что долгие годы Кантария жил на два дома. Официальная жена – грузинка с тремя детьми и неофициальная – русская. Оба дома были полной чашей.

По свидетельству Ирины, дочери Михаила Егорова (Кантария и Егоров дружили всю жизнь, хоть и были совершенно разными людьми), боевой товарищ отца купался в роскоши, о которой их семья не могла даже подумать. Михаил Егоров, несмотря на все старания местных партийных органов сделать из него хотя бы руководителя среднего звена, работал слесарем на молочно-консервном комбинате. Именно работал, а не числился. Его семья жила на зарплату рабочего и не более. После демобилизации Герой с семьей длительное время жил в бараке.

...В последний вечер стараниями главного редактора, взявшего Мелитона Варламовича под плотную личную опеку, он не смог улизнуть с прощального банкета. Было поднято много замечательных тостов. Улучшив момент, Громаков и еще трое ветеранов – полный кавалер ордена Славы и два Героя (они, как выяснилось потом, тоже были участниками штурма Берлина) взяли в оборот Кантария.

Василий Филиппович, кубанский казак исполинского роста, перекрыл ему путь к отступлению.

– Расскажи нам, как ты водружал Знамя. В деталях и поминутно...

Складывалось впечатление, что участники встречи договорились учинить Мелитону Варламовичу допрос. Четверка требовала от него ответа на поставленные вопросы, а остальные, делая вид, что не замечают происходящего, выпивали и беседовали.

Судя по реакции Кантария, ему не приходилось попадать в подобную ситуацию. Он растерялся, побледнел. Речь стала обрывистой и бессвязной.

– Мы бежали по лестнице... Потом стреляли, – в который раз повторял Кантария.

– Куда бежали и в кого стреляли? – переспросил Громаков и смачно выругался.

Оказалось, что Василий Филиппович, закончивший войну под Кенигсбергом, остался в армии, окончил высшие офицерские курсы, а потом еще Академию тыла и дослужился до полковника. Его армейские пути-дороги пересеклись в мирное время с подполковником Мининым, тем самым действовавшим в группе капитана Макова и по-настоящему первым, кто, преодолев отчаянное сопротивление, поднял красное знамя над Рейхстагом. Он служил в ракетных войсках.

Громаков от него узнал всю правду о водружении Знамени. Истинным героям, представленным к высшей награде, не дали золотых звезд Героев, ограничились орденами Красного Знамени.

Василий Филиппович прекрасно понимал, что ни он, ни Кантария не в силах переписать заново историю и восстановить справедливость. Однако ему хотелось, так Громаков объяснил потом, услышать от человека, присвоившего чужую воинскую славу, слова покаяния, но, к сожалению, не услышал. Не на шутку разволнованный Кантария нес околесицу.

К сожалению, полковник в отставке (он умер в 1988 году!) не узнал, что спустя 52 года после Победы справедливость все же восторжествовала: в 1997 году Михаилу Минину присвоили звание Героя уже несуществующего Советского Союза.

Громаков и три его товарища стояли и молча в упор, смотрели на Кантария. Встретиться с ним взглядом им не удалось. Он все время отводил глаза в сторону.

– Ты, Кантария, – жестко произнес Василий Филиппович, – повесил флаг, как дворники их вешают на домах накануне праздников...

Два Героя и полный кавалер орденов Славы молча согласно кивнули головами.

– Ты был дворником, а не знаменосцем, – подвел черту Громаков. – Я на своей шкуре испытал, как с боем рвутся на вершину и, не переставая вести огонь, устанавливают красный стяг.

Он задумался и замолчал. Казалось, в эту минуту двадцатилетний младший лейтенант Василий Громаков во главе своего пулеметного взвода вновь на подступах к Севастополю рвется на вершину Сапун-горы и водружает Красное знамя.

Четверка расступилась, давая пройти Кантария.

...Утром следующего дня я проводил его домой. Расстались сухо, без лишних слов. Он даже не пригласил меня, как принято у грузин, в гости. Можно ли было ожидать другого?! Я ведь был свидетелем сцены, подтверждающей, что король голый. Мы больше никогда не встречались.

С тех пор прошло сорок лет, но каждый год в канун Дня победы у меня в ушах звучат слова Василия Филипповича «...как дворник, накануне праздника».

Взявшись за это повествование, я вовсе не ставил перед собой цель развенчивать имидж Кантария-первопроходца – это сделано задолго до меня. Даже в те времена, когда по официальной версии он значился первым, думающие люди понимали, что это очередная советская «подстава». Прошло время, и история расставила все по местам.

Личность Кантарии спорная и противоречивая, в определенной мере даже трагическая. В его судьбе главную роль сыграл СЛУЧАЙ. Судя по информации, полученной от Якова Рюмкина, выбор на сержанта пал совершенно случайно. По советским меркам он был далеко не самой идеальной кандидатурой на роль эпохальной личности. Фактически у него не было биографии. Родился и жил в одном грузинском селе. В

восемнадцать лет женился и переехал в другое село. Два года спустя ушел служить в Красную Армию. Вот и все.

Беспартийный, малообразованный (четыре класса деревенской школы!). Ни одной боевой награды после нескольких ранений и трех лет пребывания на фронте. Последний факт заслуживает особого внимания, и мы к нему еще вернемся. Однако, как гласит народная мудрость, «на безрыбье и рак – рыба».

У советской идеологической машины был богатый опыт по фабрикации сусальных биографий народных героев. В годы войны это ремесло расцвело пышным цветом. Зоя Космодемьянская, героини-панфиловцы, Александр Матросов и другие. Галерею этих иконописных героев, чьи героические биографии были наскоро состряпаны и не имели ничего общего с реальностью, можно долго продолжать. Одним из ярких примеров такого творчества является фальсифицированная история жизни Кантария.

Когда читаешь его «художественно» написанную биографию (*Н.Гордеев. «Герой Советского Союза М. В. Кантария». М-ва, Воениздат, 1948 г.*), невольно возникает ощущение, что по воле автора само провидение привело его на свет специально для подвига, заранее определив его роль в истории.

Приведу лишь несколько абзацев.

«Он ехал (домой прощаться перед уходом в армию - **Авт.**) мимо плантаций тунго и герани, от которых поднимался сладкий одурманивающий аромат, мимо садов, где золотились мандарины и апельсины; мимо полей с круглыми, как зеленые шапки, кустами чая, мимо громадных открытых сараев, где сушились пахучие связки, знаменитого на весь мир табака, мимо виноградников с лозами, гнущимися под тяжестью гроздей...»

Наконец, Кантария доехал на лошади и «... седобородые старики, встречаясь с ним на улице, останавливали его, оглядывали зоркими и пронизательными глазами из-под нависших бровей статную фигуру юноши, жали ему руку,

расспрашивали о предстоящей службе и говорили слова значительные и веские»

В армии, как свидетельствовали его официальные биографы, он сразу стал заметной фигурой.

«Старшина Сорокин терпеливо и настойчиво объяснял молодому красноармейцу начала воинской службы; подолгу с ним беседовал политрук Барыкин, разъяснял обязанности бойцов Красной Армии, вспоминал героические эпизоды боев у Хасана и на Карельском перешейке, участником которых он был. Часто вызывал к себе красноармейца Кантария командир батальона капитан Желанов (численность личного состава батальона согласно устава РККА 778 человек. - Авт.). Беседуя на самые разнообразные темы, командир выяснял, как развивается молодой боец, к чему стремится, и, делая свои выводы, направлял его воспитание».

Чем глубже я изучал источники, тем больше нестыковок возникало в биографии Мелитона Варламовича.

Войну, согласно официальной советской версии, молодой боец встретил в Литве, недалеко от границы и чуть ли не в первый день батальон капитана Желанова, в котором якобы он служил, попал под вражеский огонь. В первом же бою, проявив мужество и открыв счет убитым фашистам, он стал примером для сослуживцев.

В июле 41-го, когда вражеская авиация безнаказанно расстреливала отступающих советских воинов и гражданское население, молодой темпераментный грузин якобы открыл огонь по повадившемуся на позиции батальона бомбардировщику с черными крестами на крыльях. По примеру Кантария беспорядочную стрельбу из винтовок стали вести его товарищи. Вдруг самолет задымился и, пролетев немного, рухнул на землю.

Налицо находчивость бойца и умение ориентироваться в боевой обстановке. За такое воину полагается если не орден, то по крайней мере медаль «За отвагу». Однако Кантария награду не получает.

Отличается он в составе родного батальона и при обороне Смоленска. Тут Мелитон уже выступает в роли пулеметчика и сражается до последнего патрона при обороне вокзала старинного русского города. Дрался, пока не упал раненый. Его вывезли в тыл едва ли не последним санитарным поездом.

Опять судьба его хранила для больших дел и опять боевые заслуги остались не отмеченными.

Конечно, мои возможные оппоненты могут возразить. Мол, в первые месяцы войны было не до наград, драпали без оглядки. Согласен, но в 44-ом, в 45-ом?!

Самое главное: совершенно не ясно, где был Кантария в первые месяцы войны. Во всех современных российских источниках черным по белому написано « в боях Великой Отечественной войны с декабря 1941 года». Возникает закономерный вопрос: где он был с июня по декабрь? Похоже, никаких геройских поступков в начале войны он не совершал. Тогда закономерно отсутствие наград.

В декабре 41-го Кантария становится разведчиком 756-го полка 150-й стрелковой дивизии и в составе этой части дошел до Берлина. Командовал его ротой капитан Кондрашов, который стал лепить из молодого грузина лазутчика-профессионала. Описание всех навыков, которыми овладел он, займет много места.

К 1943 году Кантария становится опытным разведчиком. В очередной вылазке за «языком», когда дело было сделано и до своих окопов было рукой подать, его тяжело ранили преследовавшие разведгруппу фашисты. Товарищи на руках вынесли Мелитона. Он на несколько месяцев попал в тыловой госпиталь и опять остался без награды.

Помимо звания Героя Советского Союза, Кантария имел из боевых наград ордена Красного Знамени и Отечественной войны. Обе награды получены им после войны. Орденом Отечественной войны, как и все фронтовики, он был удостоен, в 1975 году, в честь 30-летия Победы.

Орден Красного Знамени вручили Мелитону Варламовичу и его товарищам 18 мая 1945 года. Верховный Совет СССР во время боевых действий наделил командующих армиями правом награждать отличившихся солдат, сержантов и офицеров. Потом это по представлению штаба армии оформлялось в Москве соответствующим указом.

Орден Красного Знамени являлся высшей наградой, которой мог наградить командарм своим решением. Им командующий 3-ей ударной армии генерал-полковник Василий Кузнецов и оценил действия группы лейтенанта Алексея Береста. Фактически Золотые звезды Кантария и Егорова были второй наградой за одно и тоже действие.

В фильме «Горячий снег» по одноименному роману Юрия Бондарева есть прекрасный эпизод. Командарм, в исполнении замечательного актера Георгия Жженова, после боя лично приезжает на позицию разбитой, но не отступившей батареи. От подразделения осталась горстка израненных воинов. Генерал каждому протягивает коробку с орденом, приговаривая:

– Спасибо. От себя... Все, что могу.

На авиационной базе, где служил мой отец, ротой охраны командовал майор Ашот Иванович Акопян. В авиацию он попал после Победы, а всю войну Акопян, по его меткому выражению, не прошел, а прополз. Сначала был командиром взвода, а закончил войну командиром роты полковой разведки. По его утверждению, разведчики на фронте больше ползают, чем ходят.

Мы, мальчишки, могли часами с упоением слушать захватывающие рассказы Ашота Ивановича о ночных рейдах, тайных переправах через водные препятствия, о хитроумно захваченных «языках». Мой отец, уйдя в отставку, не терял связь со многими сослуживцами, в том числе с Акопяном. Ему-то я позвонил тогда в канун 30-летия Победы. Поздравил с праздником и завел нейтральный разговор. Поговорив о том, о сем, не

акцентируя внимание, спросил, не называя имени, мог ли человек три года воевать в разведке и не иметь боевых наград.

Собеседник настолько был удивлен вопросом, что переспросил, будто желал убедиться, что не ослышался.

– Мои ребята все ушли на «гражданку» с орденами и медалями, – сказал он. – Понимаешь, в разведке не бывает случайных людей. Первый же рейд за линию фронта покажет кто ты: трус или настоящий разведчик.

Я вовсе не пытаюсь обвинить Кантария в трусости или укрывательстве за спинами товарищей, но факты есть факты.

Мне довелось говорить со многими грузинами, участниками Великой Отечественной войны, в том числе, с тремя, приехавшими на нашу встречу. Они замыкались, стараясь любой ценой изменить тему разговора, когда речь заходила о подвиге Кантарии и Егорова. Это был тот случай, когда надо было либо молчать, либо говорить хорошо. Сделать последнее не позволяла совесть фронтовиков.

Грузинам история с Кантарией не требовалась. Представители этого народа честно воевали на всех фронтах, во всех родах войск и на флоте. Особенно много их было во фронтовой авиации. Девяносто сынов грузинского народа были удостоены высшей воинской награды. По количеству Героев Советского Союза они уступают только русским, украинцам, белорусам, евреям, татарам и армянам. Эти народы, согласно Всесоюзной переписи 1939 года, были многочисленнее грузинского.

Так кому потребовалось водружением Знамени продемонстрировать особый вклад русского и грузинского народов в общую Победу?

Несомненно, такая идея могла возникнуть, скорее всего, в идеологическом органе. Генеральный штаб вряд ли имел к этому отношение. Значит ЦК ВКП (б) или Главное

политуправление армии. Во главе него стоял Александр Сергеевич Щербаков. Партаппаратчик, занимавший к концу войны одновременно несколько ответственных постов. Он также руководил Совинформбюро и был заведующим отделом международной информации ЦК. В ГлавПУРе бывал крайне редко, ограничив свои функции доведением до армии партийных директив и передав все в руки замов. Щербаков вряд ли вникал в такие детали, как назначение грузина на роль знаменосца.

Вероятность, что директива исходила из Кремля от «вождя народов», сомнительна. Его в это время беспокоили куда более важные проблемы. Не за горами была Потсдамская конференция. Предстоял послевоенный дележ мира, и Сталину, разумеется, хотелось отхватить как можно более жирный кусок. Кроме того, он особо не выделял Грузию и грузин среди республик и народов. Чистка 37-го года в полной мере прошла по грузинской интеллигенции и хозяйственным кадрам. Поблажек не было.

Однако, судя по реакции политотдела 3-ей ударной армии, кто-то на высоком уровне распорядился на этот счет. Это была еще одна загадка, возникшая после более пристального знакомства с историей водружения знамени над Рейхстагом.

Совершенно случайно я встретился с человеком, пролившим свет на интересующий меня вопрос. Во всяком случае, он выдвинул вполне правдоподобную версию. Случилось это так.

Саша Фридлянский как единственный фронтовик среди членов редколлегии был назначен ответственным за праздничный номер. В канун 9 мая, занятый по горло, он дневал и ночевал в редакции. Накануне, за два или три дня до события, он заглянул ко мне в отдел и с порога попросил:

– Будь другом – выручи. Речмедин написал для номера публицистическую статью и через полчаса будет с

материалом ждуть у своего подъезда ЦК. Сходи, пожалуйста, забери статью. Ты же его знаешь.

Действительно однажды Фридлянский знакомил нас. О Леониде Остаповиче Речмедине мне доводилось слышать много хорошего. Майор в отставке, фронтовик, участник Сталинградской битвы, кавалер боевых орденов, был редактором дивизионной газеты. После войны работал в ЦК партии.

Я охотно откликнулся на просьбу. Помимо желания помочь другу и наставнику, у меня был личный интерес, надежда, что, быть может, этот человек, работающий в главном идеологическом штабе, прольет свет на загадку. Удивительно, но интуиция не подвела.

Поговорив с Речмединым о редакционных делах, о предстоящем празднике, улучшив момент, завел разговор о Кантария. Неожиданно мой собеседник оживился. Оказалось, он в свое время интересовался этой темой. Более того, пытался в архивах найти какие-либо следы директивы на этот счет, но ничего не нашлось.

Ему вскоре после войны довелось разговаривать с несколькими знакомыми инструкторами Главного политуправления. Сложив воедино скупые сведения, полученные от этих офицеров, Леонид Остапович выдвинул свою версию .

– У меня сейчас обед, есть полчаса свободного времени, – сказал он и предложил прогуляться.

Мы спустились к площади Ногина, перешли дорогу к скверу, ведущему к памятнику Героям Плевны.

– Тебе известно имя Льва Захаровича Мехлиса? – начал с вопроса свой рассказ Речмедин.

Конечно, я был с раннего детства наслышан об этом человеке. Мой отец и его товарищи-офицеры, всегда вспоминая его, переходили на шепот и не скрывали своей неприязни.

– Совершенно верно. Армейские боялись и ненавидели его, – подтвердил Леонид Остапович. – Именно Мехлис,

в 1937 году возглавив ГлавПУР, активно участвовал в развернутом в армии терроре. В мясорубку репрессий попали многие представители высшего и среднего командного и политического состава РККА.

Чтобы лучше воспринять версию Речмедина, обратимся к биографии Льва Захаровича. Он оказался моим земляком, родился в Одессе, в еврейской мелкобуржуазной семье. В восемнадцать лет стал активным членом рабочей сионистской партии «Поалей Цион». В ее деятельности участвовал три года, до призыва в армию.

Этот факт биографии Лев Захарович считал постыдной страницей своей жизни и при любом удобном случае старался отречься от ошибки молодости.

В восемнадцатом году он вступает в большевистскую партию и благодаря грамотности и хорошо подвешенному языку, умению словом зажигать массы быстро делает карьеру в армии. Начав с политрука, заканчивает гражданскую войну комиссаром армейской группы.

Вскоре попадает в аппарат ЦК, 22-му году возглавляет бюро Секретариата. Фактически становится личным секретарем Сталина, которому нравилась его работоспособность, а главное, собачья преданность и умение всемерно угодать.

В 1941-ом году он совмещает должности начальника ГлавПУР и заместителя наркома обороны. Мехлис вмешивается в планирование операций, обвиня командный состав в трусости и предательстве. Его присутствие в Действующей армии, куда Лев Захарович выезжал в качестве представителя Ставки, сковывало действия штабов, мешало оперативно управлять частями и подразделениями. 4 июня 42-го года Мехлис, направленный на Крымский фронт и не обеспечивший выполнение директив Сталина, что привело к Керченской катастрофе, был отстранен от занимаемых должностей и понижен в звании. Он выпал из числа приближенных «вождя народов», но остался в обойме армейских

политработников. До конца войны занимал должности члена Военного Совета фронтов и армий.

Попав в опалу, Лев Захарович продолжал гнуть свою линию: вмешивался в решения военного командования, писал доносы на генералов, как и в годы Великой чистки, жаждал крови. При каждом подходящем случае демонстрировал преданность товарищу Сталину и публично проявлял верноподданические чувства.

Как рассказывали Речмедину знакомые главпуровцы, 20 или 21 апреля Мехлис позвонил одному из замов Щербакова и изложил свою идею. Близок час падения Рейхстага – символа гитлеровского фашизма, и Знамя Победы над ним должны водрузить русский и грузин. Это, мол, очень понравится Хозяину. Зам поначалу готов был отмахнуться от своего настырного бывшего начальника, но задумался. Ему хорошо была известна нахрапистость и пробивная способность Мехлиса, который, уверовав в свою идею, мог перепрыгнуть через голову ГлавПУРа и выйти на ЦК, а то и Кремль. При этом он обязательно написал бы донос на человека, не оценившего его гениальное предложение.

Такая перспектива явно не устраивала зама, и в политуправление 1-го Белорусского фронта была спущена соответствующая директива, выполнять которую пришлось полковнику Лисицыну и его подчиненным.

Удалось ли Мехлису потрафить Сталину и оценил ли он лакейскую прыть? Скорее всего, нет. В судьбе Льва Захаровича ничего не изменилось. До ухода на пенсию он оставался на вторых ролях.

Судя по всему, Сталин равнодушно отнесся к факту появления грузина на крыше Рейхстага. Он никогда не встречался с Кантариея, отказав себе в удовольствии поговорить в Кремле с земляком на родном языке.

Мелитон Варламович, как и его товарищ, сержант Егоров, не участвовали в первом параде Победы. Более

того, им обоим звания Героев Советского Союза были присвоены год спустя, в мае 46-го. Хотя 31 мая 1945-го года целым списком это звание было присвоено многим отличившимся при взятии Берлина. Двенадцать месяцев в Кремле размышляли, давать Кантарии и Егорову звезды или нет, создавать новых идолов для поклонения либо обходиться старыми.

Я храню в памяти неприятные впечатления от общения с этим человеком, тем не менее, желая быть объективным, с сочувствием отношусь к нему. Считаю Кантария жертвой порочной идеологической машины советского режима.

Судьба берегла его. Будучи несколько раз раненым, он все-таки дошел до Берлина. Еще полгода, максимум год – и демобилизованный воин вернулся бы в родную деревню, занялся привычным делом. Мужчины после войны были на вес золота, особенно фронтовики. Наверняка его выдвинули бы в бригадиры, и потекла бы обычная жизнь, как до войны: дом, семья, дети, работа. Такого не случилось, хотя до простого человеческого счастья казалось рукой подать.

Директиве какой-то высокой инстанции было угодно вырвать его из привычной среды и поднять на небывалую высоту. Таковую, от которой у любого голова закружится. В душе Мелитон понимал, что взлет не заслужен (каждый из нас наедине с собой честен до конца!), и от осознания этого голова кружилась еще больше.

Наш герой после войны практически нигде не работал, только числился. Первые два послевоенных года вел праздную жизнь, разъезжая по воинским частям и рассказывая о своем подвиге (технология советского идеологического механизма!). Мелитон стал раскованным, избавился от деревенской простоты и неловкости, поднаторел в общении с высшими чинами.

Сладкая и беззаботная жизнь, всеобщее преклонение, безусловно, подействовали на молодого человека, не

видевшего прежде в жизни ничего подобного, изуродовали его психику, отбив всякое желание работать и созидать.

Для окружающих он со временем превратился из человека-легенды в атрибут строя. К нему люди стали относиться как к памятнику, стоящему в сквере. Ходят мимо, видят: стоит бронзовый мужик, а кто такой, уже никого не интересует и не волнует.

Кантария сообразил, что нежданно свалившаяся незаслуженная слава на всю жизнь может стать профессией, дающей не просто хлеб, а еще масло и черную икру.

Умер Мелитон Варламович в поезде Тбилиси-Москва, успев испытать горькую долю беженца.

Во время грузино-абхазской войны 1993-го года он вместе с семьей бежал из Сухуми в Москву. Столица встретила легендарного человека, мягко говоря, неласково. Новая власть уже не нуждалась в советских символах. После долгих мытарств и хождений по инстанциям большой семье Кантарии выделили временную однокомнатную квартиру на окраине. Правда, определив в льготную очередь на получение жилья, подошедшую уже после смерти Мелитона Варламовича.

На церемонии прощания собралось немного людей. В основном, семья, родственники и друзья. Власти проигнорировали это печальное событие. В столичных газетах не было некрологов, только радио ограничилось скупым сообщением о смерти Кантария.

Его похоронили в Москве, а спустя десять лет его прах был перезахоронен на родине в небольшом грузинском городке Джвари.

Судьба несправедливо, даже безжалостно, обошлась и с другими участниками этой исторической акции. Михаил Егоров нелепо погиб в 1975 году, всего через полтора месяца после парада, посвященного 30-летию Победы. В тот злополучный день он гостил у сестры. Кто-то из

соседей попросил безотказного Михаила Алексеевича съездить в соседний поселок. Егоров тут же завел подаренную к юбилею «Волгу». Они проехали не более километра. На перекрестке автомобиль столкнулся с грузовиком. Егоров прожил еще час.

Еще раньше своих бойцов ушел из жизни командир группы Алексей Берест. Его жизнь – яркое свидетельство, что рядом с провидением, направлявшем троицу, все время присутствовал злой рок.

Вместо золотой звезды Героя, к которой Алексей был представлен вместе с Кантария и Егоровым, его награждают только орденом Красного Знамени.

Вместо карьеры армейского политработника его после войны ждет суд офицерской чести и увольнение из вооруженных сил с позорной формулировкой «за двоеженство».

Вместо спокойной гражданской жизни Береста ждет несправедливый суд и суровый приговор.

Наконец, финал. На 51-ом году жизни Алексей Прокопьевич погибает, спасая ребенка из-под колес скорого поезда.

70 лет минуло со дня Победы над гитлеризмом. Всем уже известна правда о водружении Знамени Победы. 29 и 30 апреля над Рейхстагом было поднято 40 флагов и флажков. По приказу командующего 3-ей ударной армии генерал-полковника Кузнецова в передовые наступающие части было передано девять специально изготовленных флагов (флаг № 5 водружали Кантария и Егоров).

То, что сделали десятки, а может, сотни оставших в тени воинов, было не соревнованием. Соревнования – это автогонки в Монте-Карло или Уимблдонский турнир. Это был труд. Тяжелый, ратный. Сколько было их, мечтавших первым поднять красный стяг и сраженных в считанных метрах от крыши Рейхстага?! В спорте важно быть первым, в бою – быть победителем и остаться живым.

Нам важно не забывать слова христовой заповеди «... не сотвори кумира себе». Тем более, что кумиры умирают как простые смертные.

Игорь Шихман родился в Одессе. Закончил факультет журналистики Московского университета. Четверть века проработал в газете “Советская торговля”. В 1989 году эмигрировал в США. Успешно занимается бизнесом. Выпустил несколько книг прозы.

Он – издатель и главный редактор альманаха “Время и место”, выходящего в Нью-Йорке уже девятый год.

РОМАН СОЛОДОВ

ВТОРАЯ ПОПРАВКА. ПРОКЛЯТЬЕ АМЕРИКИ

Недавно городской Совет Лос-Анджелеса единогласно постановил запретить в городе все оружие, вмещающее более десяти зарядов. В течение 60 дней владельцы, например, АК-47 должны убрать его из города или сдать в полицейский участок. Похожий закон уже есть в Калифорнии, но в нем лазейки, благодаря которым люди могут обладать всеми видами стрелкового оружия, выпущенными до 1986 года. И потому толку от него мало. В городском законе таких лазеек нет.

В Нью-Йорке аналогичный закон был принят в 2013 году после стрельбы в школе в Ньютауне, где отморозок убил двадцать детей и шесть учителей. Массовые расстрелы ни в чем неповинных людей приняли характер эпидемии. Длинный список мест, где это случилось, растет даже не по месяцам. Чаше. Президент Обама назвал это явление эпидемией. Возникает ощущение, что страна не в состоянии что-либо сделать со страшной напастью.

Но Национальная Оружейная Ассоциация (NRA) уже пообещала подать в суд на городской совет ЛА. Законодатели с точки зрения руководителей ассоциации нарушают Вторую поправку к Конституции США. Возникает вопрос: а в чем нарушение? Разве постановление запрещает гражданам владеть оружием? Нет. Определенными видами только. Во второй поправке ничего не сказано, каким видом оружия можно владеть.

Вторую поправку, как и остальные восемь, написал Джеймс Мэдисон. Они были приняты Конгрессом в 1791 году. «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушиться». Идея Мэдисона не была беспочвенной.

США родились только что (1776). Каждый вступивший в объединение штат ощущал себя государством. Доверия к центральному правительству не было. Его и сейчас особо не наблюдается. Ополчение могло быть противовесом любителям излишней власти в Вашингтоне.

Кроме того, государство не могло в те времена обеспечить семьям, проживающим за пределами городов, адекватной защиты. Граждане селились в отдалении от соседей. Земли хватало. И хуторянин предпочитал иметь в запасе даже не одно ружье, но хотя бы два, чтобы жена или сын могли успеть перезарядить оружие, пока глава семьи стреляет в индейцев.

Можно привести еще доводы в пользу вооружения народа в те времена. Они известны и потому не станем на этом задерживаться. Просто не стоит забывать, что тогда пуля, капсюль и порох не составляли одного целого. Пока стрелок перезаряжал мушкет, опытный лучник успевал выпустить в цель более десятка стрел. А сегодня – клик... две секунды... клик, и тридцать пуль готовы вылететь из ствола того же АК-47, чтобы прошить тело малыша в коляске, подростка, случайного прохожего, водителя, оказавшегося в неправильном месте в неправильное время, зрителя в кинотеатре, студента в колледже, учительницу в школе, подставляющую себя под пули, чтобы спасти детей, отца семейства, мать-одиночку, пожилого человека... Оружие эволюционизировалось, а человеческое тело осталось прежним.

Сколько уже жертв насчитывает страна из-за этой поправки! Миллионы! Из-за нее американцы потеряли больше людей, чем во всех войнах. Знай Мэдисон, во что это выльется из-за развития оружейного дела, какие возможности появятся у убийц, не имеющих никакого отношения ни к армии, ни к ополчению, он вряд ли написал именно такую поправку. Ведь сегодня ее трактуют в пользу тех, кто заказывает оружие по Интернету, покупает его в ломбарде или на оружейных шоу. Освальд

купил свою винтовку по каталогу и получил ее по почте. В 1968 году покупку по каталогу таких винтовок запретили. И что сегодня? Расист и наркоман, имеющий проблемы с законом, получил свой пистолет по Интернету и убил в церкви мирных прихожан, уважаемых граждан города. Как он сумел приобрести оружие? Ошибся клерк, и продавец не получил нужных бумаг, где было бы написано, что этому отморожку нельзя продавать пистолет и вообще любое оружие. А в Штатах что не запрещено, то разрешено. Итог – девять жертв.

И когда Рик Перри, бывший губернатор Техаса, после этого убийства говорит о том, что законы об ограничении хороши, менять ничего не надо, их просто надо выполнять, то поражаешься демагогии этого человека. Невозможна ситуация, когда закон исполняется на все сто процентов. Так не бывает. Исполнители разные – добросовестные и ленивые, глупые и умные, безразличные и ретивые, взяточники и честные...

Подростки убили своих одноклассников в Колумбайне. У них не было легального оружия. Они украли его у своих родителей. В Штатах это часто случается. Но почему в Швейцарии, где практически у каждого взрослого хранится дома автомат, этого не происходит? Есть главная причина! В стране оружие доверено тем, кто прошел армию. Этот институт воспитывает ответственность. Мужчина знает, что такое автомат, насколько он смертоносен в руках подростка или ребенка, и потому никогда не станет хранить его в местах легкого доступа.

Американцы в этом отношении поразительно беспечны. Апофеозом их отношения к оружию может служить случай, когда двухлетний ребенок застрелил свою маму. Казалось бы, что может быть хуже. Ан, нет! В Кливленде (штат Огайо) трехлетний малыш пришел в соседский дом и застрелил годовалую девочку из пистолета. В каком доме он нашел пистолет, даже выяснять не хочется. В любом случае нельзя так хранить оружие, чтобы им легко мог

завладеть трехлетний ребенок. И третий пример: мать не могла не заметить, что ее сын не адекватен. Замкнут до патологии, не ощущает физической боли... От таких надо прятать оружие, ни в коем случае не держать его в доме. Но она наполнила дом полуавтоматическими винтовками и пистолетами, она обучала своего звереныша умению владеть ими. Он научился, и первым делом убил свою учительницу. Потом пошел в школу с маминым оружием. Какое это было оружие согласно закону? Легальное или нелегальное? Какая разница! Малыши убиты! Девочка кричала перед смертью: «Я хочу Кристмасс! Я не хочу умирать!».

В среднем в Штатах в год от пуль гибнет более полутора тысяч детей и подростков. Порой создается впечатление, что оружие приобретают только потому, что его можно приобрести. Мужчина чувствует себя сильнее, увереннее, когда держит в руках пистолет. Он забывает, что оружие это еще и обязанность. А оно порой лежит в прикроватной тумбочке. И вот уже в телефонной трубке с номером 911 раздаются панические вопли: «Я случайно нажал на курок, и моя сестра не двигается... «Я совсем не хотел убивать моего друга, просто показал ему револьвер». «Мой сын оставил записку, что ненавидит всех, и пошел в школу. Автомат унес!.. Остановите его, умоляю!»

Фильм «Реквием по мертвым. Весна 2014» весь из этих криков. Они слышны на фоне видео и фотографий людей, которые ушли из жизни из-за небрежности владельцев оружия, из-за ссоры супругов, битвы за опекой над детьми, скандального развода, даже каких-то мелких недоразумений. В случае конфликта между супругами 75% убийств совершается с помощью пистолета. Трагические истории перебивались бегущими по экрану цифрами. Они складывали в сотни, потом в тысячи. 8000 убитых только за три месяца! В Афганистане и Ираке вместе взятых армия потеряла меньше людей за все годы войны.

Количество преступлений на бытовой почве и самоубийств за последние годы выросло, это статистка. 67% убийств совершается с помощью пистолета или любого другого огнестрельного оружия. А самоубийств таким же способом сегодня 61%.

В Китае есть закон: человек подаривший убийце пистолет, ставший орудием преступления, несет такую же ответственность. Почему здесь этого нет? Любовница криминального авторитета покупает пистолет (ему не продадут – рецидивист) и «дарит». Он убивает, его сажают. А любовнице ничего. Нет у владельцев оружия ответственности перед законом за небрежное хранение. Они ж никого не убивали. Почему подарившие оружие, хранившие его небрежно, перепродавшие отморозку и так далее... остаются на свободе? Вторая поправка...

Пуля в ее современном виде появилась только в начале XIX века. А господин Кольт, уравнивший шансы немногочисленных переселенцев в их борьбе с внушительным индейским воинством, – в 1836 году. Винтовки и револьверы прокладывали дорогу завоевателям дикого Запада на протяжении первой половины XIX столетия. С некоторой натяжкой можно заявить, что американская нация формировалась в борьбе за жизненное пространство. Кому могло прийти в голову ограничить право американцев на владение оружием? Да не могло прийти просто потому, что оружия у поселенцев было мало. Дорогое это было удовольствие. Дешевое оружие появилось только после Гражданской войны. Его оказалось слишком много, и цены полетели вниз. Так что поголовное вооружение тех же переселенцев и жителей маленьких городков – это всего лишь легенды, созданные вестернами. Этот жанр сыграл большую роль в становлении ментальности американцев.

На чем основано большинство сюжетов? В маленьком городке на Диком Западе население (вооруженное) угнетается либо плохим шерифом, либо плохим мэром,

либо просто бандой, захватившей власть в данном городе... И так происходит до тех пор, пока не появляется мастерски владеющий оружием пришелец. Он наводит порядок, объединяя вокруг себя вооруженный народ. Под его руководством попорченная негодяями справедливость восстанавливается. Мерзавцы получают по заслугам. Убиты. Народ ликует, пришелец (пришельцы) исчезает, либо народ вешает ему на грудь звезду только что убитого плохого шерифа.

Порой в одном вестерне убивали людей больше, чем в Арканзасе в XIX веке за двадцать лет. За этот период там было рассмотрено только 172 случая убийства. Правда, мексиканцев и индейцев за людей почему-то не считали. Сегодня Арканзас об этом уровне убийств даже не мечтает.

Можно вспомнить знаменитую «Великолепную семерку». Почему мексиканские крестьяне позволяют делать с собой что угодно? Против кольта с голыми руками не попрешь. Они призывают вооруженных людей. И те начинают обучать бедняков владению оружием. В конце концов крестьяне восстают и оказывают неоценимую помощь пришельцам. Пришельцы, как и положены по законам жанра, куда-то уходят. В умы зрителей впечатывается мнение, что оружие просто необходимо и надо уметь им владеть.

И все же попытки ограничить действие Второй поправки были уже в том же XIX веке. Дело дошло даже до Верховного суда в 1875 году. В городе Колфакс (штат Луизиана) случилось вооруженное столкновение между белыми и черными. В рядах последних была местная милиция. Сражение вошло в историю под названием «Колфакская резня». Потери белых три человека, потери черных (только официально посчитанные) 65. Но белые не могли смириться, что черные все же кого-то из них убили, и дошли до Верховного Суда с требованием запретить

бывшим рабам владеть огнестрельным оружием. Суд, естественно, отказал им – право граждан на Вторую поправку не зависит от цвета кожи. Все равны! С горькой иронией можно заметить, что было бы лучше для тех же черных, если б иск белых удовлетворили. Сегодня основные потери от огнестрела именно среди этой группы населения. Черные составляют 85% от общего количества жертв, по подсчетам Национального центра медицинской статистики. Из потери в 2,5 раза превышают потери белых.

Но оставим историю истории. Гораздо интересней, что происходит в наши дни с пресловутой Второй. Надо сразу же признать, что сегодня отмена ее невозможна. И никакие цифры убитых в результате стрельбы, а они чудовищны, не убедят американцев отказаться от оружия. Более того, политики, выступающие за какие-либо ограничения, практически обречены на поражение. Так было с Гором. Он проиграл в своем штате Теннесси – редчайший случай на президентских выборах. Избирателям этого штата не понравилась его позиция по ограничению права американцев на оружие. А счет на тех выборах шел на единицы выборщиков. Стране дорого обошлась позиция Гора. Пришел Буш со всеми вытекающими из этого выбора последствиями.

Другого кандидата на других выборах – Керри руководители НРА обвинили в том же грехе, что и Гора. Керри, будучи сенатором, голосовал за какие-то ограничительные поправки. Керри тоже проиграл.

Надо было видеть, как кричал губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, когда его обвинили в том, что он против владения оружием. «Покажите хоть один закон, который я подписал насчет ограничения прав на владение оружием! Я регулярно накладывал вето на все законопроекты, ограничивающие права американцев в этом вопросе!» Не дай Бог, обвинят в ущемлении этого права...

“Мы никогда не представляли себе, что это случится в Луизиане”, – сказал губернатор Джиндал после того, как житель его штата в июне этого года расстрелял зрителей в кинотеатре. Пришел, начал смотреть фильм, что-то ему не понравилось, он вытащил полуавтоматический пистолет и открыл стрельбу по зрителям. Убил и ранил несколько человек. Потом застрелился сам. В штате уровень смертности от стрельбы в два раза выше, чем в среднем по стране. Здесь самые мягкие правила в отношении ограничения права на оружие. Ответственность за это лежит на губернаторе. Недаром он заслужил похвалу НРА: «Когда речь заходит о Второй поправке, никто не сделал больше для наших свобод, чем губернатор Луизианы». За восемь лет на своем посту он подписал по меньшей мере два десятка постановлений, расширяющих доступ к огнестрельному оружию и, в частности, расширил применение печально известного закона под названием «Stand your ground». Для Джиндала винтовка стала политическим козырем, которым он побивает своих противников. Он мечтает быть президентом. Остается надеяться, что он им никогда не станет.

Буквально два слова о Национальной Оружейной Ассоциации (NRA). Она была создана в 1871 году. NRA спонсирует курсы обучения технике безопасности при обращении с оружием, а также технике стрельбы, проводит соревнования и спортивные состязания в стрелковых видах спорта. Согласно проведенному журналом «Форчун» исследованию, законодателями и сотрудниками Конгресса NRA считается одной из самых влиятельных лоббистских групп. Идеологическая деятельность данной ассоциации основана на принципе, что право на владение оружием является неотъемлемыми гражданскими свободами американцев и защищено пресловутой Второй поправкой. Тактика ассоциации достаточно умна. Она играет на страхе

американцев перед насилием. Смотрите, говорят они, правительство не может вас защитить, То есть, «спасение утопающих есть дело рук самих утопающих» – вооружайтесь! Там, где наименьший запрет – меньше насилия, грабежей, и убийств! Преступник боится, что нарвется на вооруженный отпор. Статистка на стороне NRA. Только вот другие цифры говорят о том, что в Японии, где оружие фактически запрещено, в 2007-м убийств было 35. В Великобритании – 30, в Канаде – 106. За этот же год (2007) в Штатах погибло 31 224 человека.

Во время своей второй каденции президент Обама, понимая, что ему терять нечего, после расстрела в Колумбайне внес на рассмотрение Конгресса достаточно жесткий законопроект (но ни в коем случае не на запрет), ограничивающий легкий доступ жителей к определенному виду вооружений. Обама выбрал целостный подход к решению проблемы вооруженного насилия. Впервые за последние 20 лет президент США продемонстрировал лидерство в вопросе ограничений на боевое оружие и оружие с обоймой повышенной емкости, в вопросе проверок тех, кто приобретает оружие, и в необходимости пресекать незаконную торговлю оружием. Логика Обамы понятна: в современном мире автоматы не нужны ни для охоты, ни для спорта, на даже для самообороны. Сегодня такой вид оружия хорош для массовых убийств, что и было доказано многочисленными актами расстрелов в школах, университетах, кинотеатрах, на военных базах... Необходимость проверок психического состояния владельцев оружия и их причастности в криминальному миру по всем без исключения штатам также самоочевидна. Однако законопроект благополучно утонул в Конгрессе. Запомнился крик конгрессмена: «Не знаю, как вам, но моей старенькой маме нужен АК-47 для защиты от взломщиков!»).

Довод противников жесткого контроля и поголовных проверок всех, кто хочет приобрести оружие, сводился к

тому, что в законопроекте не было гарантий, что эти проверки не станут инструментом репрессий против политических оппонентов. То есть, каждого могут объявить психически неуравновешенным и разоружить в принудительном порядке. Обязательные проверки у психиатров они считают вторжением в личную жизнь. Еще бы! Прайвеси – это в Америке святое. Хотя от этого прайвеси остались ошметки после разоблачений того же Сноудена. И законодателей не переубедишь, хотя до 90% американцев поддерживают ту или иную форму выяснения личности и прошлого каждого покупателя оружия.

Еще один довод безоговорочных сторонников Второй поправки: Обама-де хочет разоружить народ, чтобы протолкнуть свои социалистические идеи. Безоружный народ в этом случае будет бессилён против произвола социалиста. Не станем останавливаться на теме Обама-социалист. Однако критики на этом настаивают. А раз так, то народ должен быть вооружен. Как будто мы до сих пор еще живем в XVIII веке, и оружие необходимо для противостояния правительству...

История, кстати, показала, что в борьбе с вашингтонскими властями нельзя прибегать к оружию. Единственно, что можно получить, это пулю в лоб. Примеров тому масса. Начнем с хрестоматийного: Гражданская война. Люди взялись за свои винтовки, чтобы поставить на место зарвавшееся правительство в Вашингтоне. Чем это закончилось? Южные штаты долго не могли оправиться от разгрома.

Второй пример из совсем недавнего прошлого: секта Давидова с ее основателем Давидом Корешем тоже противостояла федеральным властям. Люди секты были вооружены. Ее просто уничтожили. Погибло 76 человек.

И третий пример: какой-то фермер отказался платить налог за использованную им пустующую федеральную землю. Приехали сотни людей его поддержать. Многие с оружием. Чем закончилось? Налоги он тихо уплатил, его

сторонники разошлись от греха подальше. Хорошо, никто не стал стрелять. Была бы кровавая баня.

Так что довод вооруженного противостояния правительству критики не выдерживает. Больше того. Не дай Бог, если во время столкновения с представителями власти будет убит кто-то из служащих. Убийца мгновенно теряет симпатии общества, превращается в изгоя и за ним охотятся до тех пор, пока не убьют. Если же повезет остаться живым, то пожизненное заключение ему обеспечено.

Ущемляют ваши права? Идите в суд. Суд в нашей стране независим. И за его независимость американцы готовы пожертвовать многим. Миллионные выплаты получают тот, кто обращается в суд по поводу произвола власть имущих и выигрывает иск. Примеры можно не приводить, они на слуху.

Что касается роли Верховного суда в отношении Второй поправки, то оно знаменуется двумя историческими постановлениями от 2008-год и 2010 года. В одном из них дано определение, что не только члены национальной гвардии могут носить оружие – это привилегия американского гражданина. И второе – законы штата в плане ущемления прав владельцев не могут быть более строгими чем федеральные. Можно понять членов Верховного суда – они осознавали, что народ разоружить не удастся.

С момента трагедии 11 сентября 2001 года из-за терактов в Штатах погибло несколько десятков человек. Количество жертв не дотягивает до сотни. За это же время было убито более 400 000 человек. А за 50 лет после убийства Джона Кеннеди страна потеряла от огнестрельного оружия полтора миллиона человек! Демонстрируй эти цифры какое-либо другое государство, Госдеп обязательно предупредил бы своих граждан о необходимости воздержаться от поездок туда.

Правда, надо признать, что *большая* часть потерь от огнестрельного оружия происходит из-за самоубийств. Если в 2012 году общее количество убитых составило почти тридцать тысяч, то шестнадцать тысяч из них убили себя сами. Об этом хочется сказать особо.

Выполняя журналистское поручение, я побывал на курсах, где проходили лечение люди, покушавшиеся на свою жизнь, или от депрессии, от которой совсем недалеко до самоубийства. Надо было послушать страстный монолог несостоявшегося самоубийцы (он резал себе вены и его успели спасти), когда он говорил о противоестественности этого акта, о том, как организм сопротивляется этому, потому что хочет жить! Через какие страшные боли и ментальные муки проходит самоубийца перед своей смертью. Он говорил о том, что счастлив быть живым – жизнь и желание жить вернулись, он в полном порядке и никогда больше... Он все понял! И в конце он добавил, что будь у него пистолет, он бы тут не сидел.

Мгновенная, безболезненная, легко достигаемая смерть толкает на самоубийство тысячи людей. Когда есть пистолет под рукой, то можно пойти на этот шаг под влиянием даже каких-то мелких неурядиц. Сколько раз мы читали, что тот или иной подросток застрелился из-за любовных или сексуальных неудач с девушкой, непонимания родителями его мятущейся души, из-за какой-то ерунды с нашей взрослой точки зрения... Не будь у них пистолетов, украденных у тех же родителей, эти подростки были бы живы и сегодня. Только в 2007 году почти 20 тысяч убитых и раненых из общего числа убитых и раненых (31 224+66 678) были моложе 20 лет. Статистика по другим годам примерно такая же.

Сторонники Второй поправки часто приводят довод, который им кажется неотразимым: если кто-то захочет убить, он все равно убьет. Оружие тут не при чем. В опровержение этого тезиса хочется привести несколько примеров. Один из них – стрельба в кинотеатре, когда

были убиты 12 человек и 58 ранены. И второй, совсем недавний, когда в аналогичном кинотеатре психически больной напал на зрителей, размахивая топором. Он никого не успел убить. Его застрелили полицейские. Сумел бы Холмс, размахивая топором, убить двенадцать человек, будь он самый что ни на есть ниндзя? Сумел бы Ланза убить топором в школе 20 детей и шесть преподавателей? Сумел бы расист и наркоман по совместительству Руф убить девять прихожаном топором? Как убил бы Абдулазиз пять морских пехотинцев, не будь у него легального оружия?!

В последнем случае, как и в случае расстрела на военноморской базе (2013 год) можно согласиться со сторонниками Второй, что военные должны быть вооружены. Но ведь доходит до курьеза. Послушать сторонников Второй, так и пастор должен был носить пистолет, чтобы иметь возможность предотвратить бойню в церкви. Учителя в школах и университетах тоже должны быть вооружены, в кинотеатры и рестораны надо ходить с оружием, и билетерам надо давать пистолеты... Вооружить надо всю страну! Причем с такими предложениями руководители NRA выходят не сразу после очередной катастрофы. Когда случается очередной расстрел, они исчезают из поля зрения со скоростью тараканов, внезапно застигнутых вспышкой света. Их не видно и не слышно. Проходит время, накал гнева и боли спадает, и они выползают с одним и тем же: Вторая поправка священна, стреляет человек больной, либо кто-то стреляет из нелегального оружия, а всего в преступлениях используется только два процента легального оружия от общего количества, нельзя всех стричь под одну гребенку... это право американцев владеть оружием...

Что такое 2%? Это сто тысяч стволов от общего количества продаваемого оружия в год. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что именно сто тысяч используются для преступления или самоубийства. Нет цифр общего

количества оружия, используемого для убийств. Да и как можно подсчитать, когда, например, из одного легального пистолета убили девять прихожан? Речь о другом – хочется привлечь внимание к огромному арсеналу, сосредоточенному в руках американских граждан. Ведь сколько накопилось его за все эти десятилетия! У двух исламистов, приехавших устроить бойню на выставке карикатур на пророка Мухаммеда в Гарленде, штат Техас, было в арсенале 6 единиц ЛЕГАЛЬНОГО оружия. В случае их «успеха» Америку ожидал бы новый вариант массового расстрела в кенийском торговом центре. На выставке было двести человек. Счастье, что полицейские оказались на месте и были достаточно профессиональны. И так как все обошлось, вопрос о легальности арсенала исламистов не поднимался. Где купили? Как? Оружие было легальным... А разве муж стреляет в жену обязательно из нелегального пистолета? Или дети друг в друга... Нелегальное оружие в основном у бандитов.

Американцы с пониманием слушают представителей NRA, особенно в области, касающейся их прав. Права американца – святое дело! Недавно показали сюжет о парне, создавшем автомат из пластмассы. В принципе, он может создать любое оружие из этого материала. И когда ведущий спросил его, отдает ли он отчет, к чему это может привести, изобретатель ответил, что понимает, каковы могут быть последствия. Но твердо добавил, что он в своем праве. Вот это и есть корень проблемы относительно Второй поправки. Американцы дорожат своим правом, чего бы оно им не стоило.

Два слова о возможности покупки оружия. Ситуация анекдотичная. Человеку не продадут оружие в оружейном магазине без надлежащей проверки. Но он может купить его на оружейной выставке. 33 штата не требуют проверок, остальные 17 требуют. Что мешает будущему убийце поехать в тот штат, где не проверяют клиента? В США

5000 (!) таких выставок ежегодно. Частный продавец на такой выставке продаст оружие кому угодно, не задавая вопросов, не требуя документов, и даже не фиксируя сам факт продажи. И когда говорят, что в Чикаго больше всего убийств, хотя там наиболее жесткие ограничения на владение оружием, то можно только заметить, что рядом с городом есть и выставки-продажи оружия и оружейные магазины, где нет никаких ограничений. Сел в машину, проехал 50 миль и вернулся с арсеналом.

Теперь о запретах. Можно привести два примера. Американцы хорошо знают, что такое «ревушие двадцатые». Они, между прочим, отличались еще и тем, что мафия гуляла по городам. И если мы вспомним фильмы в стиле ретро, то обратим внимание, что автоматы, знаменитые томмиганы (прообраз советских ППШ), были чуть ли ни основным оружием бандитов. А 1934 году их запретили тотально на федеральном уровне, и они исчезли из обихода. В 1994 году были запрещены полуавтоматы с магазинами больше чем десять патронов. На десять лет. Уж очень много было случаев их применения. А 2004 году запрет сняли. Почему? Да потому что преступность спала. И вернули... А теперь из запрещают отдельно на городских уровнях.

Благодаря усилиям Джеймса Брэди (помощник президента Рейгана, пострадавший в результате покушения на президента) в 1998 году создано бюро проверки покупателя оружия (National Instant Criminal Background Check System). С того года список потенциальных покупателей, которым запрещено владеть оружием, утроился и достиг 13 миллионов. Количество ментально больных в нем увеличилось в 12 раз и достигло 3.8 миллиона. С помощью применяемой в этом бюро системы было предотвращено более 2.4 миллионов продаж. Впечатляющие цифры. Но огромное количество лазеек, сводя на нет эффективность работы бюро. В

частности, отсутствует кооперация между штатами. Более того, штаты не обязаны сообщать в федеральные органы о своих ментально больных, преступниках, наркоманах... Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк) внес новый законопроект. В случае его принятия он позволит поднять эффективность работы бюро. Штаты, передающие информацию федералам, будут финансово поощряться, и наоборот. Может, деньги помогут, если здравый смысл бессилён.

Кроме того, у этой системы очень узкое определение, кто есть псих. До «выхода на сцену» сумасшедший Хаузер, был помещен в госпиталь для ментально больных по просьбе членов его семьи. За ним ничего криминального не было. Попал в госпиталь не по приговору суда. Потому сведения о нем можно было никуда не посылать. Убийца купил пистолет легально в ломбарде и расстрелял людей в кинотеатре – убил двоих и ранил девять перед тем, как его убили.

Вот короткий список людей, которым запрещено владеть оружием: осужденные преступники или грубые нарушители порядка, наркоманы и распространители наркоты, а также те, кто признан судом ментально больными. Единого стандарта для всей страны нет, и потому в каких-то штатах система работает как часы, в других отношение к таким спискам наплевательское. В той же Луизиане губернатор подписал закон, требующий от судов сообщать федералам обо всех случаях даже невольного нарушения закона. Если бы Хаузер попал в госпиталь в его штате, он не смог бы купить оружие. И Джиндал призывает все штаты следовать его примеру. (Поклонника оружия здравый смысл тоже может посещать...). Увы, штаты по разному относятся к решению этой проблемы. Штат Джорджия за все годы послал список на 9000 человек, а Вирджиния за этой же время больше чем на 230 000. В Вирджинии проживает меньше народу. Но там в двадцать раз больше больных? Нет. Дело в том,

что там в 2007 году студент расстрелял 32 человека в кампусе. Грянул гром!..

Писать о Второй поправке можно тома. Тема эта неисчерпаема. В заключение можно только сказать, что сегодня в стране порядка 300 миллионов единиц оружия на руках у граждан. Попробуйте их разоружить. Но эта цифра совсем не говорит о том, что в каждой семье есть пистолет, автомат, ружья для охоты – на этот вид оружия вообще никто не покушается. Просто есть семьи, где процветает культ оружия и там хранят его, в каких-то невероятных количествах. Обитателям таких домов плевать на то, что в этом случае вероятность быть убитым или раненым возрастает в разы!

Оружие распределено крайне неравномерно. В больших городах его концентрация весьма невелика. Чем ближе полицейский участок, чем лучше район, тем меньше оружия в квартирах. В сельской местности дома бывают начинены всеми видами стрелкового оружия сверх всякой меры. И все мало, мало... Но главное в другом. Мать одной из убитых сумасшедшим Хаузером, глядя в телекамеру сказала: «Почему они (NRA) все время перекрикивают нас? Нас же, противников безудержного распространения оружия, много больше. Почему наш голос не слышат наши законодатели?»

Для справки. Членов NRA в стране меньше пяти миллионов.

А теперь – статистика. Если в 1975 году 76% допускали, что президент может быть черным, то сегодня 96%. Если в 1958 году только 4% не были против межрасовых браков, то сегодня таких 87%. Если в 1958 году только 19% допускали, что президент может быть атеистом, то сегодня таких 54%. 33% в 1937 году допускали возможность президента – женщины. Сегодня их 95%. Против президента-еврея в 1937 году выступали 54%. Сегодня только 9%. Процент людей, допускающих легальные

аборты, возрос с 75% в 1975 году до 80%. Процент людей выступающих против однополых браков (как бы к ним ни относиться) упал с 73% в 1996 году до 43%. Это яркое свидетельство, что наше общество последовательно движется по пути большей толерантности и свободы.

И только в отношении более строгого контроля за продажей оружия тенденция обратна: в 1995 году за строгий контроль выступали 95%. Сегодня только 85%.

***Роман Солодов** – сценарист, писатель. Член Союза кинематографистов России. В 1991 году эмигрировал в США. Получил профессию технолога по радиоизотопной медицине, проработал по этой специальности почти 20 лет.*

За это время написал несколько романов, изданных в Москве, рассказы, повести, множество статей, опубликованных в русскоязычной прессе США. Недавно в издательстве «Литучеба» в Москве вышел его последний роман «Время откровений»

Автор нашего журнала.

Живет в Нью-Джерси.

ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ

Авиационный марш

В небесах тарахтит вертопрах,
стрекозёл без крыла, но со смыслом,
он вращает своим коромыслом,
усмиряя и вес свой, и страх.

В коромысле и есть его смысл,
символ веры в подъёмную силу,
и что станет ему керосину,
всё он будет карабкаться ввысь.

Это небо даётся тому,
кто полет принимает на веру;
коромысло, несущее кверху —
это снятое с веры табу.

Если нет от рожденья крыла,
не тужи и не складывай числа,
а придумай себе коромысло,
раскрути — и была не была!

Тихие игры

В салки не играл, умирал с детства,
плакал по ночам, затихал в школе.
Толстая игла Адмиралтейства
сердце в темноте наобум ищет,
не нашла пока, но вблизи колет.
Это — как по дну скребёт днище:
стылая вода, ледяной ужас
остриём руки по скуле гладит,
и ещё не в счёт, но уже уже
сходятся круги на её глади.
Не нащупать пульс, такой рваный.
В тишине всхлип воды в ванной.

Замерев, гляжу, как сосёт пену
серенький волчок, домовый омут,
кружит, как живой, мёртвую петлю.
Темнота молча подошла к дому.
За окном всю ночь шелестят или,
ползает по дну смертный страх жизни.
Илистый слив. Слизь в сифонах
всё ещё не в счёт, но уже жиже.
Знает миокард, как тупы иглы
Адмиралтейства и патефона,
как шипят к концу, к центру диска,
сходятся в спираль, в ось воронки.
Чёрный глаз её совсем близко.
Узким ремешком, голоском тонким,
волосом, петлёй, силком, илом
дырочка рта затягивает песню.
Заползает страх внутрь с мылом.
Он ползёт ужом, но уже тесно
и ещё темно: ночь. Но чьи ночью
щупальцы? Гортань спазм стиснул.
Кожаный мешок износил ношу,
истощил нишу, истончил кожу,
ищет облегчения, а не смысла.
Так висит капля на краю крана...
А вода стекла, слилась. Стихло.
И ещё поздно. Но уже рано.
И ещё щелчок. Стала пластинка.
Чёрный патефон замер в коробке.
Слабый свет, дрожа, к стеклу липнет.
Ещё раз ушла ночь в воронку,
жизнь ушла вслед, еще раз всхлипнув,
в чёрную дыру. На кресте скользком
волосы висят грязной сосулькой —
вялый сталактит над водой Стикса.
Жизнь уже ушла, но ещё сколько
ждать, пока придет смерть. Скука,

смертная тоска. Покрути ручку.
Тут же патефон. Та же пластинка.
Отверни кран. Умирать лучше,
чем тупой иглой ковырять ужас,
заводя глаза, глядеть в омут,
слушать, как всё та же музыка всё туже
стягивает звук в чёрный центр, в кому...
Мерзкий ком волос, с креста снятый,
падает в ведро, в кости сельди.
Вот и все страсти, Боже святой,
наступает день — Воскресенье.
Наступает день, мной не званный.
Журавлиный клич воды в ванной.

ПЕНЕЛОПЕЯ

1. Хор в прологе

Не ты ли хитрости обучен у лис
не ты ли время не считал ни во что
тебе ль пристало приставать и скулить
какая разница на юг на восток.

И таки выдана задачка сложна
в ней неизвестное есть X это стикс
а переменная есть Z это зевс
а грек есть Y и $CONST$ жена.

Грек то есть Y он конечно игрок
рисует пулю перелёт недалёт
а Z банкует он играет как бог
и путь до X со всех мест недалек.

Ну что чернявый древний грех вечный J
тут вся задачка как мочало с колом
один ответ на поле брани лежит
другой ответ лежит на дне под скалой.

Нет знака равенства вовек меж живых
и только мёртвые примерно равны
так оглянись на причитанья жены
и на груди своей тунику рвани.

Ты уплываешь к небывалой судьбе
а возвращаешься плешив и поган
но остаёшься только = себе
и только сдохнув станешь = богам.

Вопрос поставлен илион или ты!
ответ положим я плыву илион?
расправлен парус и кораблик летит
и время выжито как спелый лимон.

2. Ожидание Одиссея

И опять эта флейта пронзительно воет весь день
или год или десять потеряна мера и время
вертикальное солнце нет смысла отыскивать тень
тени нет тень исчезла оставлена брошена с теми

что ушли за корму неизвестно когда и куда
и откуда куда бесконечная тянется пряжа
протекают худые борта протекают года
сквозь пустынное море пустынные скалы и пляжи

и пустынные отмели банки пустыня пути
замер парус отвисший как груди столетней гетеры
вёсла еле гребут даже вещи устали брести
волоча эту нить из конца и в конец атмосферы

продевая сквозь мир где отсутствует связь и уток
непомерную эту суровую эту основу
расползается ткань бытия как истлевший платок
как дорожка гнилая но снова и снова и снова

опускаются вёсла чтоб воду устало толочь
и тянуть эту нить что одна этот путь искупала
и опять эта флейта пронзительно воет всю ночь
потерялась в пространстве галера и время пропало

3. Странствия Пенелопы

И время...

И время пене лопаться шептать
о верности и по заросшим скулам
по задубевшей коже на щитах
нависших вдоль бортов угрюмым гулом
иссохнуть

И время ткать в пространство челноком
солёным и сырую парусину
по ветру распускать забыв о ком
печалиться и память пересилив
ослепнуть

И время сквозь налипший свет-сырец
сквозь вязкий воск тумана и рассвета
тридакной пить ослепший зов сирен
жемчужный уксус но испив и это
оглохнуть

И время непрерывное терпеть
крушение в-ночи-во-сне-о-скалы-
безжалостные-биться-и-хрипеть-
и-всплыть-когда-дыханья-не-осталось
воскреснуть

И время не вернуть и не забыть
и долготу длиною беспристрастно
не вымерить и горечь не избыть

вина перебродившего пространства
за встречу

И время...

И уже кончается керосин.
Отслюни ещё один рваный год
от давно истаявшей пачки.
Долго жил на твои подачи,
о которых, в общем-то, не просил,
не назойлив был, стало быть, но не горд.

А следил за пляшущим огоньком,
оторваться не мог от багровой слюды,
от невнятно мигающих знаков;
и фитиль коптил, и однако
фитиля не подкручивал вялой рукой:
уж и так на саже следы, следы;

уж и так на коже морщин, морщин,
бурых пятен, родинок, папиллом,
трещин, сколов на синей эмали.
Берегли её как умели,
протирали ветошью, вообще
старой рухлядью, памятью о былом.

Всё же как же сладко воняет жизнь,
как лоснятся жирно её бока,
как липучи её касания...
Прелесть моя засаленная,
покопти еще сколько-то, продержись,
ещё есть немного на дне бачка.

И в эту ночь мне снова снился сон,
как раскрывался наверху кессон,
и сыпался из раструба песок,
и возникали дюны и холмы,
бескрайние барханы, тьмы и тьмы,
и были мы.

Негромко воя песню в унисон,
стояли толпы войском на песке,
как воины китайцы из гробниц,
и ты стояла среди тысяч лиц,
держа лицо в руке,

и плакала, и гипс никак не сох,
и слёзы с гипса падали в песок
и оставляли лунки на песке,
и я тебя погладил по щеке
и стёр лицо.

От Фомы

Как слепого, подвёл и заметил: вот тут,
и для верности ветку сухую воткнул,
а гляжу, ничего тут такого и нет:
ни особых чудес, ни особых примет,
только ветка сухая торчит в небесах.

Не пойму я чего-то в его чудесах.

Я говорю, устал, устал, отпусти,
не могу, говорю, устал, отпусти, устал,
не отпускает, не слушает, снова сжал в горсти,
поднимает, смеётся, да ты еще не летал,
говорит, смеётся, снова над головой
разжимает пальцы, подкидывает, лети,

так я же, вроде, лечу, говорю, плююсь травой,
я же, вроде, летел, говорю, летел, отпусти,
устал, говорю, отпусти, я устал, а он опять
поднимает над головой, а я устал,
подкидывает, я устал, а он понять
не может, смеётся, лети, говорит, к кустам,
а я устал, машу из последних сил,
ободрал всю морду, уцепился за крайний куст,
ладно, говорю, но в последний раз, а он говорит, псих,
ты же летал сейчас, ладно, говорю, пусть,
давай еще разок, нет, говорит, прости,
я устал, отпусти, смеётся, не могу, ты меня достал,
разок, говорю, не могу, говорит, теперь сам лети,
ну и черт с тобой, говорю, Господи, как я с тобой устал,
и смеюсь, он глядит на меня, а я смеюсь, не могу,
ладно, говорит, давай, с разбега, и я бегу.

Владимир Строчков родился в Москве. Окончил институт стали и сплавов. С начала 90-х – в издательском бизнесе, с 2006 года – фрилансер (компьютерная вёрстка, графика, дизайн). Пишет стихи практически всю сознательную жизнь. В конце 1980-х – один из лидеров московского клуба «Поэзия».

Автор нескольких поэтических книг. Стихи переводились на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и венгерский языки. Публикуется в различных антологиях, альманахах и сборниках, в литературных журналах

Лауреат ряда литературных премий.

МАРК ГИНЗБУРГ

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

«Самое непостижимое в мире – то, что он все-таки постижим»

А.Эйнштейн

«...и наполнится Земля знанием Всевышнего»

Исайя 11:9)

Представление человека о своей исключительности было подорвано трудами Николая Коперника, показавшего, что вовсе не земля, и тем более не человек – центры мироздания.

В 1973 году, выступая в Кракове на Международном симпозиуме, посвященном 500-летию со дня рождения Коперника, известный астрофизик Брандон Картер особое внимание обратил на то, что наличие особой комбинации основных параметров нашего мира указывает, по меньшей мере, на нетипичность положения Человека во Вселенной. Сформулированный Картером «Сильный антропный принцип» гласил: «Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции допускалось существование наблюдателя». Это означало, что Вселенная заведомо приспособлена для существования жизни. Этот принцип устанавливал, что развитие Вселенной было направлено к главной цели – появлению Человека. Факт появления человека во Вселенной превращается из случайного, незначительного, в центральный, приоритетный.

На языке единой научной картины мира Сильный антропный принцип может быть переформулирован так: ***«Наша вселенная такова, что условия для появления человека оказались в ней запрограммированы с***

величайшей точностью». Т.е., причиной развития мира является конечная цель.

Ссылка на человека в космологической науке всегда казалась чем-то выходящим за границы принятых эталонов научности. Но иначе было невозможно объяснить, откуда эта невероятно точная «настройка» фундаментальных параметров мира, единственная, делающая возможным существование нашего мира. Невозможно объяснить вопиющее нарушение второго закона термодинамики. Этот закон всеобщего распада, неизбежного перехода от высших форм к низшим, к хаосу, к тепловой смерти Вселенной, явно опровергался существующим переходом от полного хаоса к высшим формам, вплоть до живой материи.

Выступлению Картера предшествовала долгая драматическая история, полная гениальных догадок и открытий, поисков доказательств, невероятных выводов, непримиримых мнений и неожиданного объединения противоположных взглядов на мир. Эту историю можно было бы представить в форме некоторого космического детектива. Например, такого.

Много лет назад взорвалась бомба невероятной силы. Ее осколки с чудовищной скоростью разлетелись на большие расстояния, сталкиваясь и сплетаясь в сложные комбинации. Причиной и обстоятельствами взрыва занялись следователи. Много с трудом поддавалось осмыслению. Некоторые даже подвергли сомнению факт взрыва – мало ли какие причины породили разлетающиеся осколки! И хотя, как предполагалось, взрыв был в очень далекие времена, стали искать свидетелей. Неоспоримого свидетеля нашли двое молодых людей, которые занимались совершенно другой работой. Они выявили его почти случайно и были за это щедро вознаграждены. Наконец, вышли и на того, кому все это было выгодно.

Но остались вопросы: а что было в этой сверхбомбе, почему она вдруг взорвалось, чего еще можно ждать. И главное - кто стоит за всеми этими событиями и какая у него цель.

Когда же следователи зашли в тупик, они вспомнили о письменных показаниях, полученных много лет тому назад. И возникли новые версии...

В действительности все началось ровно сто лет назад, в 1915 году, когда Альбертом Эйнштейном была создана современная теория гравитации (общая теория относительности). Согласно этой теории, под воздействием массы и энергии тел пространство искривляется. Тогда же Эйнштейн опубликовал уравнения, описывающие фундаментальные свойства материи, пространства и времени. Эйнштейн полагал, что Вселенная как целое должна быть вечной и неизменной. Он считал, что некая антигравитация уравновешивает гравитацию во Вселенной и обеспечивает неподвижность распределения вещества, а значит и статичность самой Вселенной.

В 1922 петербургский математик А. Фридман нашел нестационарные решения гравитационного уравнения Эйнштейна. На основе строгих расчетов он показал, что Вселенная Эйнштейна не может быть стационарной, неизменной, и предсказал расширение Вселенной. Из модели Фридманавытекало, что в далеком прошлом, 10 или 20 млрд лет назад, расстояние между соседними галактиками во Вселенной должно было равняться нулю. Получалось, что в самом начале вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области, из которой она и начала свой разлет, что в самом начале ее развития лежит взрывной процесс – «Большой взрыв».

Выводы Фридмана были настолько необычны, что Эйнштейн сначала не согласился с ним и заявил, что нашел в его выкладках ошибку. Однако после переписки с Фридманом Эйнштейн в мае 1923 года полностью

признал его результаты и назвал их "проливающими новый свет" на космологическую проблему.

Тем временем теория Фридмана подтверждалась наблюдениями астрофизиков мира. Уже в 1929 г. Хьюмасон и Хаббл открыли, что галактики не просто разбегаются, но со все возрастающей скоростью. Возникла теория, утверждающая, что 13,7 миллиарда лет назад во Вселенной произошел мощный взрыв. Что все множество планет, звезд и галактик является его следствием. Что до взрыва существовала лишь точка, сгусток энергии в условиях настолько необычных, что к ним не применимы привычные представления о пространстве и времени.

В 1933 году из командировки не вернулся в Советский Союз самый молодой член-корреспондент Академии наук СССР, 29-летний Георгий Антонович Гамов (кстати, бывший ученик Фридмана). На Западе Гамов активно и успешно продолжал развивать свои исследования во многих областях науки, но самых больших успехов он добился в астрофизике и космологии. В 1948 г. он выдвинул совершенно неожиданную смелую гипотезу "горячей Вселенной", на базе которой им же была разработана теория возникновения Вселенной. Из этой теории следовало, что должно существовать некое излучение, образовавшееся в момент Большого взрыва. Охлажденное до температуры 3 градуса по шкале Кельвина (3К), оно должно было сохраниться до нашего времени. В этом излучении, которое с легкой руки астрофизика И.С. Шкловского получило название реликтового, должен был отразиться облик Вселенной на заре ее жизни. Открыв и изучив свойства этого излучения, можно было бы глубже проникнуть в тайны мира, в тайны Большого Взрыва. По сути дела Гамов указал на **самого достоверного свидетеля**. Если бы удалось экспериментально подтвердить существование этого

излучения и равномерное его распределение по всей наблюдаемой вселенной, это означало бы неоспоримое подтверждение теории Большого взрыва. Однако в то время это излучение не было обнаружено, и теория Гамова рассматривалась только как одна из маловероятных гипотез.

Поиском реликтового излучения занялись выдающиеся ученые. В начале шестидесятых годов Роберт Дикке, возглавивший в Принстоне отдел исследования гравитации, еще раз предсказал существование реликтового излучения, забыв, по его собственным словам, об аналогичном предсказании Георгия Гамова. Но, в отличие от Гамова, Дикке решил поискать следы этого излучения. Совместно с Д. Вилкинсоном и Питером Роллом он приступил к созданию радиометра для проверки этого предсказания.

Однако их опередили Арно Пензиас и Роберт Вильсон. В 1965 г. они построили прибор, который намеревались использовать отнюдь не для поиска реликтового излучения, а для экспериментов в области радиоастрономии и спутниковых коммуникаций. При калибровке своего прибора они заметили, что уровень шума, регистрируемого их детектором, выше, чем должно быть. Помехи оказались настолько сильными, что их нельзя было связать с известными источниками. Этот шум не был направленным, приходящим с какой-то определенной стороны. Он был одинаков, куда бы ни направлять детектор. Шум был одинаковым и днем, и ночью, и вообще в течение года. Стало ясно, что источник излучения находится за пределами нашей Галактики.

К этому времени у Дикке в Принстоне практически уже была готова установка для поиска остаточного излучения. Говорят, что когда Дикке по звонку Пензиаса снял трубку и услышал о «неустранимой помехе» и ее странных особенностях – изотропности и низкой температуре, он повернулся к своим ученикам и сказал

им: „**Ребята, нас обскакали**“. Он мгновенно понял, что молодым радиоастрономам улыбнулась неслыханная удача: сами того не зная, не понимая и, в сущности, даже не ища, они совершили великое открытие века.

Так Пензиас и Вилсон за три года до смерти Гамова не только открыли космический фон излучения, но и измерили его температуру, и она оказалась равной именно 3 К, как и предсказали Гамов и другие учёные.

Пензиас и Вильсон, ничего не подозревая, дали удивительно точное подтверждение теории Гамова, переведя физику ранней Вселенной из разряда предположений в экспериментальную науку. За этот эксперимент Пензиас и Вильсон были удостоены Нобелевской премии 1978 г.

Реликтовое излучение обещало решение многих космологических проблем. Его изучение продолжалось, и новые открытия награждались новыми Нобелевскими премиями. Например, по теории Большого взрыва «вначале» Вселенная была совершенно однородной. Но как тогда могли образоваться те галактики, которые мы видим сегодня? Для этого должны были существовать пусть и чрезвычайно малые местные неоднородности. Естественно, их стали искать в дошедшем до нас реликтовом излучении, отражающем картину невероятно далекого прошлого. Расчеты показывали, что карта реликтового излучения должна иметь пятна более низкой температуры. Чтобы решить, существовали ли «зародыши галактик» уже в ранней (горячей) Вселенной, нужна была карта остаточного излучения с десятикратно более высоким разрешением чем существующая. И только приборы спутника СОБЕ (Cosmic Background Explorer), обладающие беспрецедентной точностью, обнаружили эти пятна на реликтовом фоне Вселенной. Два научных руководителя программы СОБЕ Джордж Смут и Джон Мазер в 2006 году были удостоены Нобелевской премии

по физике. А найденные следы галактических «зародышей» Джордж Смут назвал «морщинами времени» на «лице Бога».

Реликтовое излучение с одной стороны помогало ответить на возникающие вопросы, но с другой – порождало новые проблемы... 30 июня 2001 года был запущен космический аппарат НАСА – WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). С 2001 по 2009 год WMAP измерял температуру реликтового излучения, регистрируя отклонения в несколько миллионных долей градуса. В районе созвездия Эридана в Южном небесном полушарии он обнаружил более холодную область – огромную «дыру», лишенную какой бы то ни было материи. По размерам «дыра» значительно превосходит все открытые ранее подобные «объекты». Откуда взялось свободное пространство такого размера, современная модель эволюции Вселенной объяснить не может.

Привлекали внимание и другие противоречия между моделью расширяющейся Вселенной и сформулированными законами мироздания. Один из фундаментальных законов – закон всемирного тяготения – утверждает, что между любыми двумя предметами (вплоть до галактик) действуют силы взаимного притяжения. Соответственно разбегание галактик должно было замедляться. Но исследования показали, что эти разбегающиеся ускоряются. Получается, что действует не притягивающая сила, а отталкивающая; что имеет место некая антигравитация.

Было установлено, что во Вселенной существует ранее неизвестная энергия. Её назвали «тёмной энергией». Она создает «всемирное антитяготение», приводит к появлению отталкивающих гравитационных сил, которое и проявляется в ускоренном расширении Вселенной.

Возможно, что и Большой взрыв начался с того, что силы антигравитации преодолели силы гравитации, сжимавшие

«зародыш» Вселенной в единую точку, и «растолкали» его содержимое.

И новая лавина проблем. Почему же процесс, так бурно начавшийся, не дошел до четкого конца: либо под влиянием «расталкивающих» сил антигравитации все частицы должны были в конце концов разлететься, либо – в случае «победы» гравитации – сбиться в единую точку. Откуда же нынешнее равновесие между грандиозными космическими силами? Насколько оно прочно?

Основу относительной стабильности мира удалось объяснить, введя концепцию «Тонкой настройки Вселенной», согласно которой в основе Вселенной лежат не произвольные, а строго определённые реально измеренные значения фундаментальных констант, коэффициентов в нескольких уравнениях – «законах вселенной». В состав этих мировых констант обычно включают **скорость света, гравитационную постоянную, постоянную Планка, заряд электрона и массы электрона и протона.** Уникальная комбинация их значений и поддерживает это удивительное равновесие.

Чрезвычайно важно, что даже относительно малое изменение значений этих констант делает невозможным существование атомов, звёзд и галактик. К примеру: ныне вычисленное отношение массы протона к массе электрона составляет 1863. Если это соотношение было бы чуть больше или чуть меньше, это исключило бы возможность образования молекул. Именно эта «подгонка» (константы именно такие, какие они есть!) создает условия для существования не только сложных неорганических, органических и живых структур, но, в конечном счете, и человека. Таковую чрезвычайно точную настройку нельзя рассматривать как простую случайность. Но и объяснить её, исходя из известных физических законов и существующих теорий развития Вселенной оказалось невозможным. Снова тупик!? Надо было рубить этот Гордиев узел!

В 1961 г. Роберт Дикке, известный своими работами в области астрофизики, атомной физики, космологии и гравитации, заявил об ошибочности поисков физического объяснения этих особенностей Вселенной. Заявил, что гравитационная постоянная тонкой структуры в качестве мировой константы детерминирует эволюцию Вселенной в направлении, ведущем к возникновению человека.

И многие ученые, такие, как А.Эддингтон, П. Дирак, Дж. Барроу, Б. Картер и др., также пришли к выводу, что действительно имеется некий принцип, осуществляющий невероятно тонкую подстройку Вселенной. Только это не физический, а антропный (человеческий) принцип.

Короче, если совпадение констант есть, то человек возможен. И обратно: если есть человек, то совпадение констант необходимо. Отсюда следует: узкие рамки значений фундаментальных постоянных открывают возможность процессов нарастающей сложности и упорядоченности материи, что позволяет понять антропный принцип как фундаментальный закон развития Вселенной, ее движения от простого к сложному, ее восхождения к человеку.

Постепенно в сознании ученых утверждалась мысль, что наша Вселенная построена целесообразно, то есть с определенной целью обеспечения возможности существования в ней высокоорганизованных материальных систем, включая разумную жизнь. Оказалось, что во второй половине XX века телеология – теория, говорящая, что развитие систем помимо других причин определяется некой целью, – проникает именно в ту область, из которой она вроде бы была надежно изгнана – в физику и космологию

В 1980 г. Иосиф Розенталь выдвинул постулат, который условно назвал принципом целесообразности. Его смысл заключался в том, что основные физические

закономерности, наряду с численными значениями констант, являются не только достаточными, но и необходимыми для существования основных состояний (то есть ядер, атомов, звёзд и галактик). Т.е., именно указанная необходимость как цель привела к основным физическим закономерностям и значениям фундаментальных констант.

Многие выдающиеся физики пришли к мнению, что эту чрезвычайно точную настройку нельзя рассматривать как простую случайность, что в основе существующих закономерностей лежит (страшно сказать!) разумный замысел. Все чаще вместо выражения «возникновение Вселенной» стали употреблять – «творение Вселенной». Возникла непривычная для науки постановка вопроса: с какой целью?.

Публичное выражение этого настроения прозвучало в 1990 г. на заседании Американского астрономического общества, где профессор Колумбийского университета Д. Мэзер доложил свою модель образования и развития Вселенной на базе "Большого взрыва". Его доклад вызвал такое воодушевление, что председателю заседания, всемирно известному астрофизику Джеффри Бэрбиджу, ничего не оставалось, как заявить: **"Похоже, уже нет сомнений, что аудитория – на стороне Книги Бытия, по крайней мере, первых стихов, получивших научное подтверждение"**.

Более определенно высказался лауреат Нобелевской премии П.Дирак: **«Стало очевидно, что сотворение мира совершилось в некий определенный момент времени. Этот факт выявлен наукой только сегодня. Как же мог об этом знать более трех тысяч лет назад? Автор Торы? Как Он мог знать, что "в начале" Земля не имела форму шара, а была "пуста, безвидна, бесформенна и хаотична", т.е. именно так, как выглядят сгустки плазмы?»**

Дирак долгое время был неверующим. С годами его отношение к религии смягчилось, и он в 1961 г. даже стал членом Папской академии наук.

То, что "Большой взрыв" действительно произошел и дал начало миру, сегодня, не подвергается сомнению. Однако научного объяснения этому нет. Физики говорят: **«Момент сотворения мира лежит вне пределов известных в настоящее время законов физики... Момент сотворения мира по-прежнему не имеет объяснений»**. Другими словами, и сегодня, кроме **«И сказал Бог...»**, нет другого объяснения началу образования Вселенной, а также тому, почему, как и что (или Кто) этот Взрыв инициировал.

Многие физики и астрономы приходят к убеждению, что Вселенная *устроена сверхъестественно*. Американский астроном Г. Гринштейн так выражает эту мысль: **«Когда мы рассматриваем имеющиеся факты, настойчиво возникает мысль о том, что сюда вовлечен некий сверхъестественный Фактор. ... Возможно, неожиданно и непреднамеренно, мы наткнулись на научное доказательство существования Всевышнего Существа?»**.

Еще каких-нибудь 50 лет назад, приводя строки Торы: **«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»**, ученые смеялись над идеей света без его источника – Солнца. А теперь удивляются осведомленности Торы, поскольку сегодня практически все астрофизики утверждают, что в первичной фазе Вселенная действительно состояла из "света" (электромагнитных излучений) и только потом образовалась материя.

Кстати, и в каббале также есть любопытные высказывания и о «свете», и о сотворении Вселенной. Например, утверждение, что след или остаток Божественного света сохраняется вечно. Или слова

великого каббалиста 16 века Ицхака Лурия о сотворении мира:

*«...И сжался свет, и удалился,
Оставив свободное, ничем не заполненное
пространство.
И равномерным было сжатие света вокруг
центральной точки,
Так, что место пустое форму окружности приобрело,
Поскольку таковым было сокращение света...
И вот, протянулся от бесконечного света луч прямой,
Сверху вниз спустился, внутрь пространства пустого
того.
Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз,
И в пространстве пустом том сотворил все
совершенно миры...»*

Итак, новая картина мира, возникшая в астрономической науке в 20-м веке, бросает серьезнейший вызов весьма распространившейся за последние четыре столетия гипотезе о случайном и бессмысленном возникновении жизни в общей картине Вселенной.

Справедливости ради вспомним и другие версии создания Вселенной, опирающиеся на различные интерпретации антропного принципа.

Сам автор этого термина – Картер – в одной из поздних работ отметил, что ссылка в антропном принципе на человека необязательна и термин этот следует признать неудачным. Картер предлагает интерпретировать антропный принцип как принцип самоотбора, который фиксирует только выделенность нашей Вселенной из целого ансамбля миров. Т.е., допускается, что наша Вселенная является лишь частью огромного ансамбля вселенных, возникших при Большом взрыве, в большинстве из которых нет жизни. Что наш мир – это всего лишь особая, возможно, уникальная Вселенная, где

превалирующие законы физики позволили зарождение жизни. Допускается, что при других наборах констант возникли бы другие Вселенные с соответствующими свойствами, но ни в одной из них не могла бы родиться живая материя.

Таким образом, возможные альтернативы интерпретации антропного принципа предполагают саморазвитие, самоорганизацию материи и эволюционизма. Заметим однако, что эти альтернативы являются метафизическими постулатами, которые ничуть не более доступны для научной проверки, чем учение о целенаправленном создании Вселенной Творцом. И, главное, что вероятность случайного появления необходимого тонко настроенного набора констант, «порождающих жизнь», ничтожно мала.

Наконец еще два вопроса.

Первый вопрос: Что же было до Большого Взрыва?

В принципе, зная только то, что произошло после Большого Взрыва (а мы знаем только это), мы не сможем узнать, что происходило до него. События, которые произошли прежде, не могут иметь никаких последствий, касающихся нас, и поэтому не должны фигурировать в научной модели Вселенной.

Второй вопрос: Что ждет нашу Вселенную?

Полагают, что многое будет определяться соотношением двух «сил»: гравитации и антигравитации – темной энергии.

Если расталкивающая сила тёмной энергии продолжит неограниченно увеличиваться и превзойдёт все остальные силы, она разорвёт все гравитационно связанные структуры Вселенной, затем превзойдёт силы электростатических и внутриядерных взаимодействий, разорвёт атомы, ядра и нуклоны и уничтожит Вселенную в «Большом разрыве».

Если тёмная энергия со временем рассеется или даже сменит отталкивающее действие на притягивающее,

гравитация возобладает и приведёт Вселенную к слипанию, к «Большому Хлопку».

Некоторые сценарии предполагают «циклическую модель» Вселенной – чередование «хлопков» и «разрывов». Большие взрывы сменяются Большими хлопками

Подведем итоги

Замыкается круг (или очередной виток) – снова Человек в центре Вселенной. Мировые законы и константы тонко подстраиваются, чтобы дать ему жизнь, чтобы он мог развиваться и глубоко познать мир. Практически остается лишь один шаг до подтверждения того, что вселенная была сотворена с единственной целью – создать и вырастить человека. И вот тогда во весь рост встанет главный вопрос бытия: **«С какой же целью был сотворен человек?»**.

Сегодня сила человеческой мысли достигла поразительных высот. Невероятное проникновение ученых в сокровенные тайны мира, попытки осмысления того, что лежит за пределами возможности материального толкования. Согласие космологических открытий с рядом библейских откровений. В частности, возможно, и с пророчеством Исайи: **«и наполнится земля знанием Всевышнего»**.

Марк Гинзбург в СССР руководил разработкой государственных информационных систем. Автор около 100 научных работ и изобретений, нескольких монографий. В США преподавал в колледжах математику и иудаизм. За циклы лекций в штатах Массачусетс и Нью-Джерси отмечен премией «Корона Торы». Автор книг «До, После, Над», «Берег моря суеты», «10 лет с правом переписки», «Этический иудаизм». Книги и статьи Марка Гинзбурга издавались в Америке, России и Германии. Живет в Бостоне.

АЛЕКСАНДР ГРИЧ

СОЗДАТЕЛЬ «ПАНОРАМЫ»

К 80-летию Александра ПОЛОВЦА

О Половце и созданной им в Лос-Анджелесе газете «Панорама» я услышал от московских журналистов почти четверть века назад.

«Саша Половец» – только так его называли в разговорах. Никогда не Алекс, не Александр, не Александр Борисович. И неизменно упоминался его альманах «Панорама» – крупнейший по тем временам в США русский еженедельник. Причем еженедельник авторский, на страницах которого считали за честь публиковать свои произведения виднейшие представители российской литературы и искусства.

Сейчас, когда авторских изданий (т.е. использующих свои собственные, редакционные материалы и материалы своих авторов, а не цельностянутые из Интернета) в русском Зарубежье очень мало, когда все могут ездить куда угодно и печататься где угодно – трудно даже представить, как важна была в те давние годы зарубежная русская пресса и для читателей, и для авторов. «Панорама» ведь стала приходиться к подписчикам в 80-м году – советская власть была еще в полной силе, и выехать за рубеж, а тем более напечататься там – было для многих деятелей литературы и искусства мечтой почти недоступной.

Однако десятки блистательных представителей поколения «шестидесятников», кому удавалось попасть в Калифорнию – были гостями прекрасной «Панорамы» и ее издателя – Александра Половца.

Дом Половца в горном Каменном каньоне уютного городка Шерман Оакс был в течение четверти века настоящим русским домом Лос-Анджелеса.

Сейчас уже многое из того, о чем я пишу, стало историей, превратилось в легенду.

В этом доме жили кто подолгу, кто день-другой, замечательные представители русской культурной элиты. Многие из них уже ушли из жизни, стали классиками. Им поставлены памятники, их именами названы улицы, им посвящены музейные экспозиции, о них сняты фильмы...

А здесь они были гостями – и любили останавливаться, и подолгу беседовать с хозяином, и приезжать снова...

Если собрать адресованные Половцу приветствия, дарственные надписи, шуточные и серьезные стихи и песни, страницы книг, ему посвященные людьми, имена которых вошли в золотой фонд русской культуры – получится наверняка отдельная книжка. И героем её будет легендарный Половец – тот самый, которому Булат Окуджава, человек в жизни суровый и нещедрый на комплименты, надписал свой сборник так: «Дорогой Саша, у меня нет слов, чтобы выразить восхищение твоей добротой. Пусть эти песенки хоть как-то выразят мои чувства. Обнимаю». А вот Игорь Губерман: «Милый Саша, я тебя очень люблю, за что тебе большое спасибо!»

Белла Ахмадулина: «Дорогому Саше Половцу бедное подношение в большом и прекрасном доме». «Дорогому Саше Половцу, который один выживет после неизбежной ядерной войны» – это Сергей Довлатов. А вот из совсем другого поколения и другого времени – голливудская звезда Мила Йовович написала на фото: «Дорогому дяде Саше с любовью».

Около трехсот книг с автографами.

«Да и разве вместить в одну биографию соприкосновения и сосуществование стольких миров – литературы, музыки, живописи, театра, кино, политики (взять хотя бы три встречи в Белом доме с президентом Биллом Клинтоном)... И всё же – все эти миры вместились в одну судьбу, в одну биографию, с ее разновозрастными этапами, с военным детством, армией, учебными и

рабочими буднями, с неожиданными, цепко выхваченными из окружающего образными деталями, с немногословными откровениями, забавными и трогательными частностями. Со всеми мытарствами многолетнего вживания в другую среду... И какие имена звучат здесь! Почти каждое – знаковое...», – так писала в предисловии к книге Александра Половца замечательный поэт, тонкий лирик Татьяна Кузовлева.

В самом деле, какие имена... Василий Аксенов, Евгений Евтушенко, Анатолий Гладилин, Владимир Кунин, Эфраим Севела, Михаил Козаков, Саша Соколов, Михаил Шемякин, Савелий Крамаров, Вячеслав Иванов, Эрнст Неизвестный...

Добавим сюда Андрея Битова, Виктора Ерофеева, Евгения Попова, Александра Городницкого, Юлиана Семенова, Аркадия Арканова, Владимира Меньшова, Веры Алентовой, Павла Лунгина, Марка Розовского, Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Елены Кореневой, Андрона Кончаловского, Вениамина Смехова и многих, многих других замечательных поэтов, прозаиков, актеров и режиссеров. Память об этих встречах – фото, видео, аудио материалы...

Тут не количество блистательных талантов переходит в качество. Плеяда людей, с Половцем связанных, возникла отнюдь не случайно. (А в этом перечислении имен нет и половины тех, что всем известны, и, соответственно – нет и одной десятой людей обычных, в жизни которых Александр Половец остался – теплом, добром, любовью). Тут качество создает количество. Драгоценное качество Половца – умение дружить.

Дар дружбы, дар делать людям хорошее. Вроде бы – ничего особенного. Но в реальной жизни мало кто обладает им, а с размахом Половца – и по-прежнему.

...Родился Саша в Москве, в коммуналке у Красных ворот. Жизнь его советская была вполне благополучной:

издательская карьера, немалые должности... Но в определенный момент он понял – «ехать надо». И с 12-летним сыном Станиславом (жена Ольга погибла от несчастного случая совсем молодой) переехал в США.

Кстати – так никогда больше не женился, а семью сына Стэна (американский вариант имени) – его жену Иру, внуков Даниелу, Дэвида и маленькую Софию – боготворит. Несмотря на нелюбовь к самолетам, постоянно летает на семейные праздники. Прежде, когда Стэн работал в Москве – через океан, теперь в Нью-Йорк, это всё-таки поближе... А вот на недавнее вручение в Иерусалиме премии «Генезис» Майклу Дугласу, которое проводил Стэн как соучредитель и президент Фонда «Генезис», старший Половец лететь отказался – только недавно в Нью-Йорке отметили окончание внуком Дэвидом школы, Саша там был, хватит пока поездок.

...А в те давние годы в Лос-Анджелес перебралась и мать Саши Дина Абрамовна, та самая, которой Булат Окуджава посвятит после стихотворение «Звезда Голливуда».

Эмиграция... Это в то, советское время – как родиться заново. Чужая страна. Тяжелый труд. Нет денег. Приработки – фотографии тогдашних «новых эмигрантов» на фоне их «роскошных автомобилей». Работа неблагодарная, за которую мало платили, а иногда и не платили вовсе.

И – страстное желание издавать свою газету, вскоре осуществленное.

«Панорама» набирает силу, в числе ее авторов через несколько лет – лучшие литераторы России и зарубежья. Половец создает по-настоящему АВТОРСКУЮ русскую газету, что в условиях заграницы – уже тогда редкость. И эта газета успешна.

Но с середины 90-х набирает силу обратный процесс – процветает газетное воровство и пиратство, когда зарубежные издания живут практически на российских “выжимках”.

Половец едет в Москву в 1998-м, на конгресс зарубежной русской периодики, наивно полагая, что прекратить пиратство – одна из целей конгресса. Убедившись в обратном, он вскоре уходит с газетной работы.

Но и новая работа – продолжение прежних и создание новых дружб. Половец возглавляет Всеамериканский культурный фонд Б.Окуджавы. Собираются деньги, покупается и передается в Москву оборудование для музея Окуджавы в Переделкино. Проводятся вечера и фестивали, вручаются премии фонда Евгению Евтушенко, Анатолию Гладилину, Новелле Матвеевой, Александру Городницкому, Науму Коржавину, Михаилу Шемякину, Эрнсту Неизвестному...

Эта работа продолжается и сейчас.

За последние месяцы Фонд провел творческие встречи с кинооператором Михаилом Суловым («Ликвидация», «Жизнь и судьба» и еще 70 фильмов в США и России), народным артистом России Евгением Лазаревым, известным актером Олегом Видовым, певицей Галиной Хомчик, теплый вечер памяти Савелия Крамарова.

А еще в эти годы – подведены предварительные итоги работы прозаика и журналиста. Вышли в свет объемистые тома мемуаров и бесед с замечательными людьми. Названы эти тома загадочно «БП. Между прошлым и будущим». И книга прозы «Мистерии доктора Гора». Эти книги есть и в бумажном виде, и в электронном – и те, кто их прочтет, уверен – еще раз поразятся тому, как много может вместить жизнь человека.

А сейчас – три истории не из книг, а из жизни Половца.

1.

У Окуджавы турне по США. В Нью-Йорке он неважно себя чувствует и показывается врачу. Тот успокаивает «Все в порядке...». Турне продолжается.

Булат Шалвович вообще не любит ходить к докторам, но сердце его тревожит, и в Лос-Анджелесе он, уступая настояниям Половца, снова идет к врачу. Реакция однозначна – «Положение серьезное, нужна немедленная операция».

Слабенькая страховка поэта не покрывает почти ничего. Стихийно образовывается штаб (Половец, жена Окуджавы Ольга, еще друзья из Лос-Анджелеса). Штаб ищет по всему миру средства для экстренной операции. Их находят – в Германии, в США...

Вечером, за день до операции, Окуджава дает концерт в доме Половца. Завершает песней: «Та самая главная песенка Которую спеть я не смог...». Этот рефрен повторяет четыре раза, вместо одного обычного, словно прощается...

Я видел дома у Половца эти кадры – они уже история.

Операция прошла успешно, поэту были сохранены многие годы жизни.

2.

Крамаров жил в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско много лет. И все эти годы дружил с Половцем. Вещественные следы этой дружбы – Половец переделал свой дом по совету Савелия – и из спальни стало возможным выходить прямо к бассейну, на широкую веранду, где теперь, когда собирается много народу, выступают артисты...

Савелий мог позвонить: «Саша, я тут уезжаю ненадолго, можно я тебе кое-что завезу?». И, получив согласие, пригнать на следующее утро целый грузовик вещей – от чемоданов до дивана...

Человек он был отнюдь не такой, каким рисуется и будет рисоваться общественному мнению – порой мнительный, тщательно следивший за своим здоровьем и питанием, и, житейски говоря, не слишком везучий... Чего стоит эпизод, когда Половец повез его к приятелю, Савелий там захотел покататься на «Феррари» – в течение минут произошла

авария, и Крамаров... лишился уха, врачам пришлось поработать. Ухо пришили. Савелий никогда не приходил к Саше без подарков. Некоторые до сих пор стоят на полках. А в гараже пылится зеленый чемодан Крамарова.

Это Половцу звонил Савелий, сообщая, что они с Наташей, его последней любовью, решили пожениться.

Когда Савелия не стало, именно Половец договаривался с Михаилом Шемякиным о памятнике, который теперь установлен на могиле Крамарова.

3.

Довлатов. Не лучший период в его американской жизни. И Половец заключает с ним договор на написание повести «Иностранка». И выплачивает аванс. Для нормального книгоиздания – ничего особенного, но в эмиграции... Анатолий Гладилин говорил мне: «Эту новость передавали, как нечто небывалое... Надо же! Договор! И аванс – в Калифорнии... На русскую книгу».

И книга была написана. И подарил Довлатов Половцу свои трубки. (Саша тогда еще дымил вовсю).

А Гладилину – именно ему и никому другому, доверил однажды Половец остаться за него на три недели редактором в «Панораме» на время зарубежной поездки. Потому что во многих вещах Саша был готов на компромиссы, но только не в том, что родная «Панорама» напечатает.

И, наконец, архивы Половца... Они бесценны. Часть их уже передана на хранение в РГАЛИ, где у Половца есть отдельная секция. Часть готовится сейчас сотрудниками Гуверовского Института в Стэнфорде для передачи в их хранилища.

Работа идет интенсивно, но архивы так насыщены... Среди того, что я помню, есть интереснейшие письма

Попова, Лимонова, Авторханова, Севелы, Смехова, Сичкина, Халифа, Вайля, Гениса, аудиозаписи Юлиана Семенова, Андрона Кончаловского, Валентина Бережкова (личного переводчика Сталина)... Даже Кашпировского, даже Каспарова есть записи.

...Иногда хожу по дому Саши Половца и слышу голоса. Давно отзвучавшие голоса живых и ушедших. Голоса из истории, голоса из легенды.

И так хорошо, что хранитель этих голосов и сегодня полон энергии, сил, желания и умения делать людям добро.

Александр Грич – профессиональный литератор, автор ряда телефильмов, продюсер. Родился и жил в Баку. Член Союза писателей и Союза журналистов СССР.

Перевел многие произведения классиков и представителей современной азербайджанской литературы на русский язык. С 1992 г. живет в Лос-Анджелесе.

Основные работы: книги “Такие дела”(1981), “Погода”(1986), “Через годы”(1989), “Один, Другой, Третий”(1992), “Окно в моём доме”(2004). Телевизионные фильмы “Неофициальный портрет президента” - 5 серий(1998), “Есть только миг...”(2000), “Жизнь, судьба, эпоха”(2005)

Автор и ведущий телевизионного литературного альманаха “Баяты” (1980 – 1992), передач “Обозрение” (2000 – 2001), “Факты и комментарии” (2003 – 2007). Сотни публикаций в журналах и газетах Баку, Москвы и Лос-Анджелеса, телевизионных и радиопередач.

АЛЕКСАНДР ПОЛОВЕЦ

АННА СЕМЕНОВНА

Рассказ

Весна запаздывает. Потемнев под лучами неяркого солнца, тают, растекаются вдоль набережных холодными ручьями сугробы. Вот очистился уже от снежной шапки, собравшейся за долгую зиму, купол Исаакия, – а настоящий приход весны всё отодвигается. И сейчас снова идет снег – жесткие крупинки, подхваченные набегающим с ночной Невы порывистым ветром, устремляются навстречу раскрасневшимся лицам.

...Незаметно сбежавшие от шумного застолья, они несутся в открытом кабриолете – мягкая крыша кузова откинута и постукивает где-то сзади железными креплениями. Смахивая перчаткой снежинки с плеч спутника и перебивая себя смехом, она громко декламирует: «Морозной... пылью... серебрится... его бобровый... воротник!..». Автомобиль трясёт, неровности булыжной мостовой совершенно ощутимы – так, будто бы толстая резина не укрывает собою железные ободы его колес. На повороте с Невского на набережную Фонтанки её спутник поднимается вдруг – во весь свой огромный рост. «Широ-о-о-кая масленица!..» Малиновый шарф развевается подобно языческому стягу, мохнатая шапка чудом удерживается на его голове. Наверное, таким увидит его годы спустя в своей мастерской художник – возникшим вдруг на её пороге и загородившим собою дверной проём – и таким сохранит его чудотворная кисть медленно уходящего из жизни мастера. Сохранит навсегда. «...Ты-ы с чем пришла!..» – слышится уже в конце квартала. Стоящий на углу городской укоризненно глядит им вслед, прикрывая

рукавицей лицо от колючего ветра.

Господи, как хорошо, как замечательно все это! Этот замешанный туманной сыростью густой воздух, эти низкие облака, эта река – она плещется там, совсем рядом, за чугунными витыми решетками, протянувшимися между гранитных тумб, неспешно неся темные осколки льдин.

«Остановите, остановите авто!» – соскочив с подножки еще движущегося автомобиля, она бежит к парапету, прижимается спиной к перилам, машет ему рукой...

А сколько же прошло с того бала? Да, не так уж и много – шесть... нет, семь лет... Вот он, отойдя от роаяля, за которым остается ещё сидеть аккомпаниатор, и только что представленный группке выпускниц пансиона, учтиво склонив голову, осторожно кладет ладонь на её талию... Кажется, такой неуклюжий – откуда же в нем столько грации? – думает она, закруженная вальсом. Ей вдруг кажется, что вся она целиком умещается, тонет в этой огромной ладони.

И совсем так же, как тогда в быстром вальсе, перед глазами ее слились в сплошную полосу лица подруг, пышные воланы оконных занавесей, скользящие по вощёному паркету с подносами на вытянутых руках улыбающиеся лакеи, таким же неотчетливым, пронесшимся в одно короткое мгновение представляется ей теперь всё, что вместилось в эти несколько лет – непременно посещения невыносимо скучных курсов и театральные премьеры, поэтические вечера с дурачащимися мальчишками, называющими себя футуристами, и частые поездки к родным, в Вену и в Базель...

На этой неделе она снова уезжает, теперь, наверное, надолго: в Вене ждет работа, ждут ученики – её ученики!

А что еще ожидает её?

Эхо выстрела в совсем близком отсюда Сараеве... торо-

пливые сборы – и ночной поезд из Вены в Берн... возвращение кружным путем в Петербург, в объезд залитых кровью мест, откуда только что откатились ставшие вражескими армии... Красные банты в петлицах чиновников, нескончаемые митинги на улицах, ночные выстрелы и торопливо перебегающие Невский кучки напуганных горожан. Переезд. Голодная, одичавшая Москва.

Этого она ещё не знает. Всё это будет – потом. Потом...

А сейчас – поблескивая лаковыми боками, автомобиль мягко тормозит у подъезда. Шофер соскакивает с высокого сиденья, ловко распахивает дверцу. Остается лишь, протянув спутнику руку для поцелуя, улыбкой попрощаться с ним – и оставить экипаж. Задержав её ладонь в своей, он смотрит – даже не на нее, но куда-то мимо, в сторону подъезда, где она должна исчезнуть. И вот она пробегает мимо дремлющего в кресле швейцара, на мгновенье задерживается перед лестницей, чтобы, смахнув осевшие крохотными прозрачными каплями на поверхности фотографии снежинки, спрятать плотную картонку в пушистую муфту – и незаметно пронести к себе в комнату.

Да так ли было всё это? И с ней ли?..

44-й год, декабрь... Война скоро кончится – об этом уверенно говорят в очереди, что задолго до рассвета выстраивается в Орликовом переулке. Фасад продуктового магазина, когда-то тщательно оштукатуренный, празднично-желтый, теперь весь в сколах, в комьях смерзшихся грязевых брызг, оставшихся с долгой осени. Пытаясь сохранить остатки домашнего тепла, женщины кутаются в платки, бьют себя по бокам, приплясывают – отчего снег под их ногами сбивается в плотную корку, темнеет и становится скользким. Болтаются, постукивают пустыми бутылками

авоськи: обещали с утра молоко. Скользят по насту деревянные костыли, много костылей – на них опираются одетые в шинели со следами споротых погон совсем ещё не старые дядьки.

Война скоро кончится. Скоро.

«24-мя артиллерийскими залпами!..» – нарочито растягивая слова, совсем как диктор Левитан, вещают в самодельные рупоры – обрезки водосточных труб – пацаны, забравшиеся на припорошенную ночным снегом огромную, занимающую чуть не четверть всего двора, кучу угля. Уголь свален ближе ко входу в подвал – там дворовая котельная. Грубые, хрипловатые мальчишеские голоса победно поднимаются вверх, вдоль стен нашего двора-колодца, составляющего утробу пятиэтажной кирпичной громады. Дом занимает весь квартал, отделяя собою Кировский проезд от Боярского переулка. Впереди его – гранитная арка станции «Красные ворота»; там, в вестибюле метро, клубится пар, образованный врывающимся в открытые стеклянные двери морозным воздухом. Удивительный пар, не похожий ни на какой другой: возникая, он тут же смешивается с постоянно витающим (только здесь, только в этом метро!) волшебным запахом моего детства – запахом шоколадных ирисок.

Дальше, за метро, по Садовому кольцу движутся колонны пленных. Они нескончаемы – тысячи людей, одетые в зеленоватую форму, едва укрывающую от колючего зимнего ветра. Охраны почти нет – нельзя же считать охраной этих молодых, может, чуть старше нас, ребят с болтающимися за плечами, дулом вниз, совсем нестрашными карабинами. Или – открытый газик с лейтенантом, тархтящий рядом с колонной. Чего же с ними так долго воюют?.. Кто-то из бредущих в колонне безразлично, пустыми глазами, смотрит вперед. Кто-то шагает, опустив голову. Другие любопытно озираются по сторонам, на ходу заговаривают с остановившимися

прохожими, протягивают самодельные зажигалки и перочинные ножики – в обмен на хлеб.

Хлеб у москвичей уже есть. Появилась на столах (пусть и не у всех, потому что цены пока коммерческие) всякая снедь – рыба, колбасы, сыр.

У нас дома всё это бывает – приносит из ОРСа отец. Приходит отец нечасто: его цех выпускает фугаски, которые все еще нужны фронту – потому что ещё не взяты Будапешт и Прага, и целёхенький, неразрушенный стоит Нюрнберг, и германскую столицу по-настоящему тоже пока не бомбили... Отец живет в цеху – с того самого дня, как его вернули сюда из призывного пункта. Вернули и нас в Москву – меня, маму и верную мою няньку Полю, в последние дни 41-го прошедшую с нами в скотской теплушке маршрут Москва – Раевка – Бийск... А теперь – обратно.

Наша квартира понемногу оживает – возвращаются из эвакуации старые жильцы, поделяются новые. Здесь семь комнат. Вернее, семь высоких – их наличники почти упираются в лепной карниз потолка – дубовых дверей. Когда-то сиявшие лаковыми поверхностями искусно подогнанных друг к другу досок, а теперь матовые и тёмные, они дополняют своей странной огромностью постоянный полумрак длинного коридора. Слабые лампочки едва освещают его; электрический свет отражается неяркими бликами на глянце выложенного замысловатыми многоугольниками паркета. Я и сейчас, спустя много лет, закрыв глаза, вижу отчетливо наш коридор. Он совсем не похож на типичный московский: здесь отсутствуют сундуки в темных углах, и педали велосипедов, подвешенных крюками на уровне глаз, не заставят вас, проходящего, прижаться к противоположной стене. Наш коридор широк и просторен. К тому же он совершенно пуст – даже мой велосипед, собранный из частей и деталей по меньшей мере трех довоенных веломашин, хранится в

прихожей квартиры на первом этаже, где живут бабушка с папиной сестрой. А больше ребят в квартире нет – если не считать совсем маленьких Юрку с Мариной. У них долго еще не будет своего велосипеда – и потому что рано им, и потому, что давно живут без отца. Юрка хотел, чтобы во дворе знали – отец их на фронте пропал без вести. То есть погиб, скорее всего.

...Он и правда погиб – но в заключении. Тогда же знать нам этого было нельзя.

Квартира когда-то вся принадлежала Кливанскому. Семену Ароновичу Кливанскому, видному меньшевику, совершенно невероятным образом не задетому частыми лопастями мясорубки, запущенной четверть века назад его политическими оппонентами. Он и сейчас живет здесь со своей дочерью Бэллой, старой девой, служащей корректором в научном издательстве. А может – редактором. Она почти всегда дома, ее нередкие гости приносят в охапке толстые портфели и сумки, из которых высовываются лохматыми углами пачки рукописей. Кливанские – самые редкие гости на кухне. Оба ходят бесшумно, она – кутаясь в длинный махровый халат, он – в полосатой пижаме, накинутой на ночную рубашку, склонив блестящую, опушенную венчиком седых волос, лысую голову. Желтые светляки лампочек пробегают по стеклам его пенсне. Оба высокие, носатые, не улыбкающие. За их дверью – всё, что осталось после многократного «уплотнения», как называется подселение к хозяевам квартиры новых жильцов. Разных, но всегда чужих. Год за годом Кливанские отступали, освобождали комнату за комнатой, стаскивая в самую просторную из пока остающихся им всё дорогое и необходимое. Их жилплощадь и теперь велика, там выгорожены целых три комнаты, и все они, по московским меркам, довольно просторны. Причем две – светлые, с окнами на улицу. У нас одна комната, окно её

выходит на черный ход. Поэтому здесь всегда горит свет, даже когда дома нет никого – так нам кажется лучше. Нашей комнатой, самой дальней от парадного входа в квартиру, завершается коридор. В торце его две узкие, окрашенные масляной краской двери – уборной и ванной. Сбоку – еще одна: сразу за нашей стеной кухня с семью столами и двумя покрытыми рябой эмалью газовыми плитами. И – черный ход.

А за другой нашей стеной, с которой спускается плотный старый ковер, укрывая собою топчан с пружинным матрасом – на нём я сплю – живет Анна Семеновна Шарф. Её комната больше нашей раза в два, высокое окно выходит в сторону двора. Самого двора отсюда не видно, надо далеко высунуться из окна и только тогда можно заглянуть в этот огромный, кажущийся бездонным колодец. Зато из ее окна видны ряды крыш соседних домов – с нашей стороны дом имеет пять этажей (мы живем на четвертом), а с противоположной лишь четыре. Вон Козловский переулок, начинающийся клубом Министерства морского флота, куда мы по десятку раз бегаем смотреть «Небесный тихоход», «В степях Украины» и, конечно, «Чапаева»... Вон они – Харитоньевский, Фурманский... И чуть левее, в сторону Садового кольца, – Хоромный тупик.

Крыша нашего дома – это отдельная история. Для меня она начиналась зимой 44-го, когда, проникая сюда через чердачные лабиринты, мы собирали с гремящего, крашенного охрой, железа осколки зажигательных бомб. Осколки эти потом можно было выменять на противогазные маски, резина которых совершенно незаменима при изготовлении первоклассных боевых рогаток. Или – на запчасти для самодельных пистолетов-хлопушек: кажется, их называли «мечики» и собирались они из трубочек, бойков, пружинок и каких-то

металлических загогулин. Потом, спустя года три, я снимал отсюда своим фотокором – реликтовым советским аппаратом с растягивающейся гармошкой и кассетами, в которые вставлялись стеклянные фотопластины, – все стадии строительства нового здания-высотки: в это здание вскоре переехал НКПС, как тогда сокращенно называлось ведомство железных дорог.

Между прочим, крышей же могла завершиться моя недолгая жизнь – когда однажды, в первую послевоенную зиму, мы затаились там, устроив засаду на лазутчиков с недружественной нам Домниковки. Покидал я ее почему-то последним; часы, проведенные на звенящей от морозного ветра жести, свели мёртвой судорогой кисти обеих рук. Позже, обнаружив себя дома, я едва мог вспомнить, каких усилий стоило мне, десятилетнему пацану, распластанному на скользкой от намерзшего льда и снежной пороши покато́й поверхности, доползти, упираясь локтями, до чердачного люка, чтобы почти замертво свалиться в него...

Вскоре на все входы в чердак навесили тяжелые замки – наверное, не без настояния моего отца.

...На окне у Анны Семеновны плотно, шершавыми глиняными бочками друг к другу, прижались горшки с маленькими кактусами. Кактусы – это увлечение Анны Семеновны, у них даже есть свои имена. И мне эти кактусы разрешается поливать. Еще мне дозволено рассматривать сквозь мерцающие темные стекла внутренности шкафов, которые собственно составляют стены ее комнаты. Там – книги. Русских совсем немного – один или два шкафа. Все остальные изданы где-то за границей: вот Данте – множество томов в темных шагреневых переплетах, раскрыв которые можно подолгу рассматривать удивительные сюжеты старинных гравюр. В соседнем шкафу – Сервантес, это

испанский шкаф. Вот – Шекспир, разумеется, на английском. Все эти книги Анна Семеновна давно прочла. И продолжает читать... Помню очень много немецких книг – Фейхтвангер, Шиллер, Гейне... Их больше всего – не поэтому ли мои родители условились с Анной Семеновной, что она, помимо общепросветительных тем, будет учить меня немецкому?.. И ещё (но это уже за моей спиной) – что она будет пытаться исправить мои, скажем так, не отличающиеся особым изяществом манеры, обретенные в целиком захватившем меня теперь общении с красноворотской шпаной. А впрочем – и с Преображенской, и с черкизовской: туда мы нередко «срываемся» на подножках трамваев, идущих от Каланчевки, выяснять наши непростые отношения.

...Теперь Анна Семеновна столуется с нами, что позволяет ей исключить из своего быта магазины, а заодно продлить наши занятия до практической проверки усвоенных мною навыков. Как сейчас помню: укоризненно глядя на меня, она перекладывает из «неправильной» руки – в «правильную» нож или возвращает на стоящую рядом тарелку вынутый у меня почти изо рта огромный ломоть хлеба. Ах, Анна Семеновна, Анна Семеновна, – я ведь, правда, и сейчас, прочно забыв всё, чему меня учили в те годы в школе номер 505, на Садовом, как раз напротив башни старого НКПС, я ведь и сейчас помню ваше «Гутен таг, фрау Майер, вас костен ди айер? – Акт пфениг». И помню, как прикрыв ладонью глаза – чуть выпуклые, всегда внимательные и удивительно, совсем не по возрасту живые, – как вы задумчиво слушаете стихотворение, которое я сам, сам написал под впечатлением прочитанного томика Лермонтова – в виде редчайшего исключения вы разрешили мне унести его к себе в комнату «...только на один день!»

Эти стихи, кроме вас, Анна Семеновна, не видел никто.

Потом я часто ловил на себе её внимательный взгляд, – так смотрят, когда собираются что-то сказать – важное и необходимое. Он смущал меня и тревожил, мне даже казалось, что я могу ощущать его спиной, покидая её комнату...

Несколько лет спустя, когда ей, наверное, уже было за 70, я заметил в ее руках учебник китайского языка. Она стояла у плиты, следя, чтобы из крохотной кастрюльки не выкипело молоко, и посматривала в самоучитель. «Анна Семеновна, – удивился я – зачем это вам?» Насколько чудовищна мера бестактности подобного вопроса, адресованного пожилой женщине, в голову мне, разумеется, не приходило. Ну ведь, правда – зачем ей? В Китай она, что ли, поедет?

На всю жизнь я запомнил ее ответ. И по сей день я вспоминаю его, и даже цитирую – когда есть тому подходящий повод. «Видишь ли, – сказала она, глядя куда-то поверх моей головы, – вот заметь: я всегда опрятно одета, я трижды в день чищу зубы. Я знаю, что буду делать сегодня, и планирую все, что собираюсь сделать на этой неделе. Я живу так, будто знаю, что буду жить вечно». Потом она посмотрела на меня, едва дотянувшись, положила мне, как когда-то, сухонькую, покрытую с тыльной стороны старческими родимыми пятнами ладошку на плечо – что было уже совсем нелегко при ее маленьком росте – и добавила, улыбнувшись: «...Хотя, вообще-то, я готова умереть в любую минуту». И, повернувшись, прошаркала войлочными тапочками по паркету к своей двери.

...А вскоре меня провожали в армию. Повестки были уже у всех, собравшихся сегодня в нашей «главной» комнате, и еще в крохотной пристройке к кухне: холодная кладовая всякими правдами и неправдами была отцом превращена в дополнительную жилплощадь, позволявшую мне иметь свою отдельную конуру. Умещались там только топчан

(теперь я спал здесь), некое подобие письменного стола, сколоченное по месту знакомым плотником, и дощатая табуретка с полукруглой прорезью в сиденье. Сегодня, на проводах, комнатка служила нам неким буферным пространством, куда втискивались отужинавшие, чтобы присоединиться к нестройному хору, голосившему под аккордеон всё, что в те годы пела молодежь. А пели мы тогда вернувшиеся из долгого забвения студенческие куплеты, вроде этих – «Через тумбу, тумбу – раз...», или еще – совсем уже старинные «Крамбамбули», – в которых припев подхватывался всеми присутствующими и непременно в полный голос.

– Соко-о-о-лики... – а-ой -люли... – поддерживали мы поющего, – давайте пить... – выкрикивал аккордеонист, он же запевала. – Кр-р-рамбам-були!..– вопили гости. Между тем, время перевалило за полночь... Перед моими глазами до сих пор, как будто было все это только что, Анна Семеновна, сжавшая виски ладонями: она мечется по коридору, умоляюще глядя на нас.

Эх, мерзавцы мы, бесчувственные мерзавцы, – ну хоть бы кому из нас пришло на ум одернуть орущих!

К 6 утра на нескольких таксомоторах почти все мы добираемся до районного военкомата – где-то за Чистыми прудами. Здесь нас отделяют от провожающих: теперь уже совершенно другие парни окружают меня – одетые кто в потасканную телогрейку, кто в совершенно немислимого вида дедовский зипун, вытасченный из дальнего чулана, кто в старое солдатское обмундирование – гимнастерки, хлопчатобумажные галифе и подобную им рвань. Считается (и впоследствии выясняется полная справедливость этого суждения), что в армейских каптерках, куда вся гражданская одежда будет сложена по меньшей мере на три года, мало что за время службы сохранится. А раз так – чего рядиться-то? Все навеселе – кто-то еще не отрезвев от проводов, кто-то захмелел уже поутру. Пить продолжают и здесь – пока втихую, потому

что вокруг снуют старшины и сержанты-сверхсрочники, должные сопровождать наш состав. И позже, в теплушках – там пьют уже в открытую. В ход идет всё: у меня и сейчас на губах жив вкус тройного одеколона от путешествовавшей из рук в руки алюминиевой кружки, в которую и мне кто-то плеснул теплой водки.

Здесь начиналась другая жизнь, – но сегодня не о ней мой рассказ.

Совсем не о ней.

Вернемся же в нашу квартиру – дней на десять назад. Уже известна дата сбора, мы с родителями наносим прощальные визиты родным, чьи семьи разбросаны по разным, немало отдаленным друг от друга, концам Москвы. И потом, один уже, я объезжаю приятелей. Или – они приезжают ко мне. С соседями мы будем прощаться ближе ко дню моего отбытия. Но вот Анна Семеновна останавливает меня в коридоре и зовёт к себе в комнату. Она подводит меня к шкафу с русскими книгами, копошится с минуту, пытаюсь раздвинуть плотно прижатые друг к другу толстые их корешки, и осторожно, потягивая то за один уголок, то за другой, вытаскивает оттуда конверт. Отогнув клапан, она бережно вынимает из конверта старую фотографию. Это фотопортрет. Необычный ракурс: камера снимала сбоку и немного сзади, и кажется, что объект этой фотографии совсем рядом и смотрит от нас куда-то вдаль – так, что невольно хочется проследить за его взглядом. Черты лица знакомы... Ну да, это он – Федор Шаляпин. Правый верхний угол занят надписью, стилистически не вполне совершенной, но весьма выразительной: «Милая Аллочка! Вступая на самостоятельную дорогу в жизненном пути, не всему доверяйся слепо». Дальше следует размашистый росчерк подписи и дата: «24 апр. 913 г. СПб.»

Она протягивает портрет. «Знаешь, – говорит она, – мне уже много лет. Ты вот уходишь в армию, а вернешься –

меня, может, не будет в живых. Возьми, на память...». Я растерян – не столько щедростью дара, это я смогу оценить лишь годы спустя, – но прямотой, с которой она вдруг говорит о возможности своей смерти. «Анна Семеновна, ну как же... три года не так много, мы с вами, конечно же, увидимся... А кто она – Аллочка, кому подарен портрет?» – «Аллочка – это я, – поджав губы, Анна Семеновна смотрит куда-то в сторону. – Так меня называли». Больше ничего она не сказала. Ничего. А я, балбес, и не пытался выудить из нее хоть какую-то подробность, пусть самую малую, определившую наставительный тон надписи, адресованной ей великим уже в те годы певцом.

Конечно же, не увиделись... Спустя два года, когда мне позволен был десятидневный отпуск, и когда, убегая от патрулей в подходящем к Москве ленинградском экспрессе (в столице шел первый молодежный фестиваль, и потому солдат-отпускников отлавливали в поездах и отправляли обратно в части) – так вот, когда я добрался до нашей квартиры, её в живых не было уже с полгода.

...Анна Семеновна, как всегда, была права.

Спустя почти двадцать лет я снова уезжал из Москвы, на этот раз навсегда. Позади были месяцы полной неопределенности – потому что формального отказа в выезде не было, но не было и разрешения. Подававшие одновременно со мной прошение на право покинуть страну давно уже были в Израиле или в Италии – на пути в Америку, в Австралию, в Канаду. И кто-то уже был там... Мы же, я и сын, ждали. Тому полгода, как я нигде не работал. Время от времени сын, продолжавший по инерции ходить в школу, подводил меня к стеклянной двери балкона. – Па, гляди, они опять здесь, – говорил он, кивая на прогуливавшегося по тротуару невдалеке от нашего подъезда человека. Неподалеку от него стояла

«Волга», разумеется, черного цвета. Словом, слезка была демонстративная, совершенно открытая. Напугать, что ли, хотели? Так же демонстративно они оставляли после своих как бы тайных визитов в нашу квартиру сдвинутые с места стулья, вынутые для просмотра из шкафа книги. Однажды я по-настоящему испугался – мне показалось, что они унесли хранившийся между книг портрет Шаляпина. Портрет нашелся – и я с облегчением перепрятал его, убрав подальше от любопытных глаз незваных визитеров. Господи, знали бы они о моем наивном тайничке в туалете – достаточно было лишь чуть сдвинуть оргалитовую плитку в потолке, чтобы прямо на голову свалились сотни фотокопированных книжных страниц.

Сейчас я думаю – просто пугали. Иначе – был бы я здесь!

Прошли еще недели. Всё уже оставалось позади: зловредная «Софья Власьевна» (так на московских кухнях называли советскую власть) пригрозила на прощанье корявым пальцем – о разрешении на выезд мы узнали спустя неделю после того, как срок его истёк, – и наконец выездная виза, одна на двоих, была у нас на руках. Теперь времени на подготовку и отъезд получалось чуть больше недели – что всё же было достаточным, поскольку вещей на отправку у нас не было. Это если не считать книг, с которыми я не хотел расставаться. Те, что вывозить было недозволено, я роздал друзьям: и заветный томик самого первого издания Надсона, и вставленные в чужой переплет мемуары вдовы Мандельштама, и берлинскую перепечатку философа Соловьева... Коробки с книгами удалось довольно скоро пристроить на отправку «медленным» грузом. Шел густой снег, сотрудники грузовой таможни вручили нам, толпящимся в очереди, неуклюжие фанерные лопаты: хотите, чтобы скорее, – расчищайте подъезды к складу. Может быть, москвичи-отъезжанты 76-го года, если кому-то из них доведется читать эти строки, вспомнят последние числа марта, грузовую таможню на

Комсомольской, сугробы снега у входа – и сумасшедшего, в сбившейся на затылок нерповой кепке, машущего деревянной лопатой в ритм «Варшавянки»: ...В царство свободы дорогу грудью проложим себе!.. – Ау, ребята, этот сумасшедший – я... Не знаю, откуда у нас, тогдашних эмигрантов, бралась отчаянная, безрассудная дурость – ведь известно было, что и с подножки самолета снимали кого-то, почти уже успевшего почувствовать себя за границей.

...Я пел, отбрасывая лопатой в сторону пушистый, не успевший слежаться в тяжелые пласты свежий снег. Кто-то из шурующих рядом со мною посмеивался, кто-то шараялся в сторону, едва разобрал слова...

Наконец, все таможенные процедуры были (не без помощи дорогой ронсоновской зажигалки – да что за чепуха, это же просто сувенир, берите!) закончены – и ящики с книгами уходят с весов на тележку надежно «смазанного» грузчика: в его же ведении и деревянные ящики, от прочности которых зависит сохранность багажа. Незадолго до этого, взглянув на обложку журнальчика с фривольными фотографиями, затесавшегося среди отправляемых книг, молодой таможенник вскинул брови: – Это еще что? – А что такого, я же не привез в страну, я же увожу, – наивно отвечив я. – О, если бы привез – мы бы не так говорили! – быстро оглядевшись по сторонам, он незаметным движением смахнул журнал со стола куда-то вниз, следом за зажигалкой. – Конфисковано! – сообщил он мне, ухмыльнувшись, после чего дело, кажется, пошло быстрее.

Но оставались еще фотографии...

У меня, любителя фотодела с мальчишеских лет, скопились многие сотни отпечатков, и, не знаю уж почему в ящики с книгами их положить не позволили. Отобрав те, что составляли для меня самую дорогую память, я вынул их из альбомов и заложил в толстые конверты. А как быть

с портретом Шаляпина? О его существовании знали сотрудники Бахрушинского музея и всяческими способами пытались выцыганить фотографию для своей экспозиции – тем более, что был портрет уникален: как выяснилось, ни в одной шаляпинской публикации воспроизведен он не был. Мне же расставаться с портретом решительно не хотелось – в конце концов, он для меня составлял добрую память о женщине, мягко, но решительно противостоявшей влиянию на десятилетие меня страшной улицы послевоенной Москвы. И пусть старания ее были, чего уж скрывать, не всегда успешны – память о ней становилась для меня с годами дороже и уважительнее. – Была не была! Решил я и засунул фотопортрет среди десятка совсем старых, почти дагерротипных фотографий далеких предков, передаваемых «на свободу» моими родными. «Наши уезжали в начале века – вдруг найдешь там кого-нибудь», – напутствовали они меня. Эти дагерротипы сослужили свою службу – я действительно нашел родных (вернее, они меня – потом, спустя годы, мы вместе рассматривали старые фотографии), и с их же помощью выехал со мною портрет: пограничник в Шереметьево пролистнул их веерно – и бросил в чемодан, сочтя неинтересным подробное их разглядывание.

...Зато все мои фотографии – и те, где я был снят в солдатской форме, и те, на которых было больше двух человек, – остались провожавшим меня друзьям. Ко мне они все попали, но спустя годы. Фотопортрет же, благополучно миновав вместе с нами границы Австрии, Италии и, наконец, Америки, снова занял свое место. И снова не на стене: чернильная надпись на нем стала бледнеть, и я счел за благо оставить его в конверте – том самом, в котором он достался мне четыре десятка лет назад.

Случается, я вдруг забываю – где он, где хранится прощальный подарок Анны Семеновны. Это может

произойти со мной в любой час, даже ночью. Где же он? Потом я, конечно, нахожу его и, не вынимая из конверта, перекладываю в новое, как мне кажется, более памятное место...

Иногда же я достаю из конверта фотографию, рассматриваю её – и наступает момент, когда за чертами Шаляпина, как бы из небытия, проступает передо мною тёмное пространство огромного коридора, из глубины которого медленно, слегка ссутулившись, идет мне навстречу маленькая женщина. На её плечи наброшен широкий, окутывающий всю её фигурку платок, волосы гладко, на пробор, расчесаны, выпуклые глаза внимательно смотрят на меня. Она улыбается и, кажется, готовится что-то сказать. Я хочу, я очень хочу узнать – что она говорит мне? Но вот видение исчезает. Подержав какое-то время портрет, я прячу его в конверт и убираю – до другого раза.

Узнаю ли я когда-нибудь – что не успела сказать мне Анна Семеновна?

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ» С «МОЛЧАНИЕМ»

или – перефразируя Коржавина – Баллада об историческом
недокорме*

*Коммунистический режим был утопией, исхитрившейся
сделать свою свою утопичность источником
бесконечного долголетия. Реальности
трудно бороться с ирреальностью,
разуму трудно спорить с абсурдом.
Ален Безансон*

*И отправился я в Белые Столбы...
Александр Галич, «Право на отдых»*

1.

В один из своих наездов из Питера в Москву я отправился в Белые Столбы. Но не для того, чтобы взглянуть на прославленную Галичем психушку, где «шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики» (она, как я узнал сравнительно недавно, вовсе и не там находится, а километрах в сорока на юго-запад от Белых Столбов, возле станции Столбовая). Я поехал в другое советское учреждение, несравнимо более высокое и значительное, но которое посторонний человек, скажем, какой-нибудь англичанин или француз, мог бы запросто принять за дурдом. Ибо была в нём какая-то странность, ирреальность, нечто шизоидно-параноидальное. Хотя и носило оно название солидное, монументальное, отливавшее державной бронзой:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИЛЬМОФОНД СССР

По слухам, там хранились едва ли не все шедевры мирового кино. Точнее говоря, не хранились, а бдительно

охранялись, потому как простому советскому человеку их почему-то видеть не полагалось. Специальное Постановление Совета Министров, снабжённое грифом «Секретно» и подписью Председателя Совета Министров Союза ССР И. Сталина, предписывало, в частности, в IV квартале 1948 г. восстановить наружное ограждение фильмохранилища. Включить в перечень особо важных объектов промышленности Государственный фильмофонд Министерства кинематографии СССР. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) принять под охрану войск Министерства внутренних дел Государственный фильмофонд. Увеличить численность войск Министерства внутренних дел СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог на 35 человек. Обязать Министерство кинематографии СССР (т. Большакова), по согласованию с Министерством внутренних дел СССР, обеспечить Государственный фильмофонд, передаваемый под охрану войск Министерства внутренних дел СССР, техническими средствами охраны (ограждение, освещение, связь, сигнализация) и предоставить необходимые служебно-бытовые помещения для размещения войсковой охраны.

Все эти меры предосторожности предназначались для защиты «особо важного объекта» от народа, то есть от «хозяев страны» (согласно официальной таблицы о рангах). Другое дело – «слуги народа», большое начальство: ему запрещенные к показу ленты регулярно доставлялись в специальные просмотровые залы. До нас же добиралась ничтожная доля этих богатств – фильмы, которые так или иначе подтверждали то, что нам неустанно втемяшивала власть: Запад – не сахар, капитализм разъедают противоречия и пороки, люди там одиноки и глубоко несчастны. На такие картины (типа «Этот безумный, безумный, безумный мир», «Чайки умирают в гавани», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «12 разгневанных мужчин») государство, кряхтя, выкладывало

драгоценную конвертируемую валюту. Всё остальное беззастенчиво воровалось – тайно, незаметно копировалось во время просмотров в Москве, куда наивные западные киношники привозили свои фильмы на предмет продажи.

Поездка моя была чистой воды авантюрой, в которую меня втянула моя московская коллега и друг Люба Бергер, Люся, как её все называли. Улыбнувшись и распахнув свои необыкновенные, будто нарисованные кистью импрессиониста серо-зелёные глаза, она предложила мне бросить все дела и провести день в Белых Столбах. С ней и Игорем Голомштоком.

– Наш НИИ выдал нам официальную бумагу с печатью. И со списком фильмов, которые нам ну просто позарез необходимо посмотреть для научной работы. Поехали с нами! Бергмана и Антониони увидишь!

– А я-то тут причем? – удивился я. – Меня и на порог не пустят!

– А-а, чего-нибудь придумаем. Игорь поможет, он умный. Давай, решайся! Завтра в девять, Павелецкий вокзал, возле пригородных касс.

И я решил. Ну, не пустят, так хоть с Игорем Голомштоком познакомлюсь. Я был наслышан о нем: историк искусства, друг и соавтор Андрея Синявского. Наотрез отказался дать показания по делу Синявского-Даниэля, за что схлопотал шесть месяцев исправительно-трудовых работ (их потом заменили крупным штрафом).

Приезжаю на вокзал. Люся с Игорем уже там. Знакомимся. Игорь бросает на меня оценивающий взгляд.

– Значит, так. Вы – наш переводчик с итальянского. Начальству скажем, что в Бергмане разберемся сами, шведский худо-бедно понимаем, а вот «Приключения» Антониони без толмача нам не осилить, зря время потеряем. Едем?

– И что – начальство тут же вам поверит? Без вещественных доказательств? А ну как попросят меня бумагу предъявить? Или поговорить по-итальянски?

Определённого ответа Игорь не дал, – могут поверить, а могут и проверить, – но добавил, что попробовать стоит. «Он прав», – подумал я. И купил билет.

2.

В дороге разговор вертелся вокруг привычных интеллигентских тем. Новинки самиздата и тамиздата. Обыски, аресты. Письма протеста: кто подписал, кто уклонился... Игорь говорил обо всём спокойно и трезво, ничему не удивляясь и ничем не возмущаясь. Разгадку его сдержанности я обнаружил через много лет в его мемуаре «Воспоминания старого пессимиста». В отличие от меня, Игорь избежал индоктринации, с юных лет придерживался спасительного, здорового скептицизма:

«Я не был ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лицом, ни в демократию как в панацею от всех социальных зол и несправедливостей мира сего, я не был очарован политизированным демократическим движением, не верил в оттепель 1960-х и в перестройку 1980-х, понимая, что в России всё и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой пессимизм оберегал меня от очарований».

Прочитав это, я понял, почему Игорь так рано покинул СССР. Уехав в 1972-м, он оказался, так сказать, на два года умнее меня... В эмиграции он написал и издал на нескольких языках «Тоталитарное искусство» – подлинно научное, тщательно документированное исследование об искусстве СССР, нацистской Германии и фашистской Италии. Там есть ссылка на мою статью о том, как обменивались «песнями о главном» два тоталитарных монстра – гитлеровская Германия и сталинская Россия. Интересно, опознал ли Игорь в авторе статьи Люсиного друга, питерского музыковеда? Вспомнил ли Павелецкий

вокзал и всю эту причудливую, авантюрную историю с Белыми Столбами?..

Разговор в электричке я поддерживал вяло: мешала мысль об инсценировке, в которой мне предстояло уподобиться Остапу Бендеру и нагло прикинуться тем, кем я отродясь не был. На всякий случай, под стук колёс, стал заготовливать комбинации из итальянских музыкальных терминов типа *adagio sostenuto una quasi fantasia... allegro ma non troppo, poco a poco accelerando da capo al fine...* В слабой надежде, что проверяющий их не знает и подумает, что сказанное имеет хоть какой-нибудь смысл...

Из того, что говорилось моими спутниками, мне почему-то яснее всего запомнился рассказ Люси о жующей корове из какого-то современного западного фильма: жуёт она себе и жуёт, морда – на весь экран, кадр этот длится и длится – и вы начинаете ощущать беспокойство, смутное предчувствие беды...

– Правда, похоже на приём *ostinato* в музыке? Игорь, по-итальянски *ostinato* – упрямый, упорный. Володя как переводчик подтвердит... Так вот, современные композиторы прибегают к нему гораздо чаще, чем их предшественники. И в более заострённом виде: мотив, фраза или ритмическая фигура прямо-таки вдалбливаются в наш мозг. А режиссёры авангардного кино используют «зрительное остинато» – типа той самой застрявшей на экране жующей коровьей морды. И там, и там – «психическая атака», верное средство усилить эмоциональное напряжение...

Обнаруживать сходные черты и приёмы в разных видах новейшего искусства было любимым Люсиным занятием. Увлёклась этим настолько, что освоила две специальности, музыковеда и искусствоведа, а затем и киноведением занялась...

Пути от станции к зданию Госфильмофонда не помню совершенно: глазеть по сторонам и запоминать не давало приближение ответственного момента... Была ли там

ограда, возведённая по распоряжению товарища Сталина? Или её к тому времени снесли? Был ли контрольно-пропускной пункт с охранником? Пожалуй, нет, потому что в здание меня впустили, ничего не спросив. Повезёт ли мне дальше – зависело от чиновника, в кабинете которого скрылись Люся с Игорем, оставив меня в предбаннике. Вышли они оттуда минут через десять, и, судя по их лицам, с благой вестью. Разрешение получено! Без предъявления документов, без демонстрации моего безупречного итальянского...

Что это было? Обычное, всепроникающее русско-советское разгильдяйство? Или то, что моих поручителей, которые здесь уже бывали, держали за вполне приличных людей, на жульничество не способных?

3.

Нас завели в скромного вида комнату и погасили свет. На небольшом экране вспыхнула крупная надпись: L'AVVENTURA и начался фильм, который советские критики, увидевшие премьеру «Приключения» на Каннском фестивале 1960 года, дружно обругали интеллектуальной порнографией, а западные провозгласили новым словом в киноискусстве. Хотя мне и хотелось понять, что это за зверь такой – «интеллектуальная порнография», и чем она отличается от порнографии vulgaris, я был больше занят другим: почти бесплодными попытками понять, о чём говорят герои фильма... Особенно – Клаудия, подруга бесследно исчезнувшей на необитаемом острове Анны. Она сразу же попала в фокус моего внимания, заполонив его почти безраздельно. Иначе и быть не могло: Клаудию играла несравненная Моника Витти, которая влюбила в себя миллионы советских мужчин, посмотревших фильмы «Затмение» и «Не промахнись, Ассунта!»...

После Антониони мы смотрели Бергмана. Игорь и Люся заказали несколько его фильмов, более коротких, чем растянувшаяся на два с половиной часа лента Антониони.

Один из них нам не выдали. «О “Молчании” забудьте, – сказал подателям письма-ходатайства заведующий коллекцией. – Я его знаю, как свои пять пальцев: проштудировал для своей научной работы «Изображение секса в зарубежном кино». Так вот, “Молчание” – это уже нечто запредельное. И опасное: может нанести зрителю непоправимую травму – эстетическую и моральную. Так что, извините. Не могу. Как говорится, «кина не будет»...

Уже в эмиграции узнал я, что Главного Хранителя Сокровищ звали Владимир Юрьевич Дмитриев. Умер он недавно, в 2013 году. Коллеги его ценили и уважали. Правда, «многие на него обижались, когда он не выдавал пленки. Но все его отказы, даже казавшиеся чистым самодурством – «Не хочу и не дам!» – были обоснованы. Обоснованы интересами коллекции, которую он сохранял и расширял».

Мы не обиделись. Мы были вне себя. Печётся, мерзавец, о нашей нравственности, о чистоте нашей этики-эстетики, а сам, как Скупой рыцарь, – один, без свидетелей, – вожделенно созерцает свои сокровища! Для научной работы материал собирает? Заглянул сейчас в интернет: никаких научных работ о сексе в кино за В.Ю. Дмитриевым не числится. То ли соврал он нам про своё исследование, то ли бросил эту затею.

4.

А «Молчание» я всё-таки посмотрел – ещё до отъезда из СССР. С помощью финнов и эстонцев. Случилось это так. В самом начале 1973 года я оказался в Таллине, куда незадолго до этого поехал Галич – отдохнуть от столичной суеты и мстительного литературного начальства. Перед отъездом Александр Аркадьевич и жена его Ангелина Николаевна предложили мне присоединиться на недельку к ним: пообщаться, побродить по старому Таллину, а ещё – познакомиться с Владимиром Максимовым: «Не пожалеете! Володя – очень незаурядная личность. Он там

засел в гостинице и пишет новый роман».

Один из вечеров мы провели в уютном частном доме, где Галичу устроили домашний концерт для эстонских литераторов и интеллектуалов. Слушали опального московского барда с глубоким вниманием, принимали тепло, угощали щедро. Галич светился радостью, прямо-таки купался в успехе. А между тем в соседней комнате по телевизору шло... «Молчание» Бергмана. Показывало его финское телевидение, сигналы которого хозяева дома ухитрялись ловить при помощи какой-то специально сконструированной хитрой антенны. И как только Галич брал time out, чтобы принять очередную рюмку и перевести дыхание, я бежал к телевизору, подогреваемый страшилками Дмитриева и приговором советских критиков, обнаруживших в ленте Бергмана «философию человеконенавистничества и латентный фашизм» (?!).

Увы. Ни очень уж откровенных сексуальных сцен я там не нашёл, ни ненависти к человечеству, ни этого, как его? – латентного фашизма. Может быть, потому, что смотрел урывками, да и картинка на экране была очень уж нечёткой...

Не прошло и двух лет, как я, оказавшись в Америке и начав работать в колледже Оберлин, увидел «Молчание» на нормальном киноэкране. Фильм показали на кампусе в серии шедевров мирового кино. Она проводилась ежегодно, и это было прекрасно! Я смог посмотреть многое из того, что тщательно скрывалось от меня и моих сограждан родной советской властью. А параллельно – пытался наверстать упущенное, заполнить зияющие лакуны в других сферах: в музыке, поэзии и прозе, философии, живописи...

Только вырвавшись за пределы советского зазеркалья и прожив на Западе немалое количество лет, я осознал, насколько серьёзны и долговременны последствия той жалкой духовной диеты, на которой долгие 70 лет держала

своих подданных большевистская власть. Ревниво оберегая нас от постижения проклинаемых на всех углах «общечеловеческих ценностей», преподнося нам лишь крохи мировой культуры, государство выпестовало странное архаичное общество, оказавшееся органически не способным к модернизации, не сумевшее принять ценности, накопленные европейской цивилизацией. Оно твёрдо убеждено в том, что окружающий мир враждебен и бездуховен, что европейская толерантность есть не что иное как всеядность, разложение и маразм, а свобода и демократия – химера и миф, их нет нигде и, даст Бог, никогда не будет в России. Предел мечтаний нынешнего вождя – стабильность и порядок. «Встав с колен» с его помощью, Россия переименовала своего бывшего мучителя и палача в «эффективного менеджера» и принялась восстанавливать сооружённый им в середине прошлого века «железный занавес».

Расставшись с идеологией коммунизма, страна неудержимо погружается в ирреальность и абсурд, порождённые иной мессианской утопией, абсолютно нелепой в XXI веке – мечтой о «Третьем Риме», о Великой Империи, перед которой расступаются и трепещут другие народы и государства...

5.

«Мудрая культурная политика партии» частенько проявлялась в формах, казавшихся нелепыми даже мне, непростительно долго верившему в истинность марксистской доктрины. Так и стоят перед глазами мизансцены, будто заимствованные из театра абсурда. В 1948 году нам, студентам Ленинградской консерватории, перестали выдавать в библиотеке ноты (а в кабинете звукозаписи – плёнки) сочинений Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мясковского и других классиков советской музыки, осужденных в Постановлении Политбюро ЦК КПСС об опере «Великая дружба» В. Мурадели.

К счастью, был у нас Никодимыч – Анатолий Никодимович Дмитриев, музыковед-теоретик, который умел играть с листа всё, что стояло на пюпитре, вплоть до сложнейших оркестровых партитур. То ли беспечен был наш учитель, то ли бесстрашен, но он приносил в класс взятые в библиотеке запрещённые ноты (преподавателям их выдавали в виде исключения), прикрывал поплотнее дверь, и из под его ладных пухловатых, но удивительно ловких ладоней лились звуки, которых нам не полагалось слышать ни при каком раскладе.

Не знаю, кто ввел у нас эти запреты. Возможно, что с перепугу – наш ректор Павел Алексеевич Серебряков. По собственному почину, без нажима сверху. Ведь уволил же он, недолго думая, «антинародного формалиста» Шостаковича, приезжавшего из Москвы заниматься с композиторами-аспирантами.

...1965 год, конец августа. Я включён в группу композиторов и музыковедов, отправляющихся в Эдинбург на международный музыкально-театральный фестиваль. Это мой первый в жизни выезд за рубеж. К тому же – в капстрану! Без предварительной пробной обкатки в стране социалистического лагеря!

Фестиваль открылся на огромном стадионе грандиозным и красочным музыкальным представлением: перед тысячами зрителей один за другим продефилировали, демонстрируя своё мастерство и экзотическую экипировку, военные оркестры всех стран Британского содружества. Великолепное, эффектное, многообещающее начало! Но продолжения оно не получило. Утром следующего дня нас посадили в роскошный туристический автобус и повезли осматривать Глазго. Оповестив, что в Эдинбург мы уже не вернёмся. Фестиваль, ради которого была устроена 9-дневная поездка, пройдёт без нас! Оказалось, что руководители группы знали об этом заранее. Тур был спланирован так, чтобы львиная доля нашего времени ушла на туризм, и ноль времени – на

посещение фестивальных концертов. Для чего? Чтобы уберечь нас от растлевающего воздействия современной западной музыки. От опасных формалистических извращений. От соблазна вырваться за расставленные партией красные флажки соцреализма. Идиотизм ситуации был очевиден всем, но открыто взбунтовались только шестеро. Среди бунтовщиков запомнил только умную и симпатичную молодую музыковедшу из Тбилиси Нану Кавтарадзе.

Поднятый нами скандал увенчался успехом. Вечером того же дня нас доставили – в том же огромном автобусе – обратно в Эдинбург и провели в элегантный концертный зал. Не сбылись наши ожидания. Никакой крамолы не услышали мы в тот вечер. Филармонический оркестр сыграл одно-единственное сочинение композитора XX века – симфонию американца Уолтера Пистона (не помню, которую из восьми). Умеренный модернизм. Солидная композиторская техника, яркая оркестровка при не очень ярком тематизме. Зря рвались, зря затеяли эту бурю в стакане воды.

С улыбкой вспоминаю этот наш детский, щенячий протест. И с благодарностью – тех, кто так или иначе помогал мне вплоть до отъезда вкусить от запретного плода – услышать, увидеть, прочесть то, что тщательно скрывалось от граждан страны Советов, включая нас, «бойцов идеологического фронта». Никодимыча, игравшего для нас объявленные вне закона клавиры и партитуры. Галича, протащившего меня на закрытый просмотр новой французско-итальянско-американской кинокомедии Витторио Де Сика «Семь раз женщина» с блистательной Ширли Маклейн в заглавной роли.

Фильм показали в Доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом. Я тогда жил неподалёку, в Доме творчества композиторов, что на границе Репино и Комарово. Там мы и встретились с Александром Аркадьевичем вскоре после нашего знакомства на

полуофициальной конференции бардов, устроенной под Петушками в мае 1967 года.

Не забываются – после стольких-то лет! – и все те, кто снабжали меня самиздатом и тамиздатом, записями джазовой музыки и песен французских шансонье. Те, кто ввели меня в два замечательных ленинградских дома, где хранились шедевры русских художников начала XX века, не выставившихся в советских музеях...

Одному из моих друзей стоило бы поставить памятник. Или хотя бы мемориальную доску установить у входа в Московскую консерваторию, где он работал в последние годы жизни. За то, что исполнил 13-ю симфонию Шостаковича, наплевав на наложенный на неё запрет. И как исполнил! В отвергнутой властями оригинальной редакции стихотворения Евтушенко «Бабий Яр», которое легло в основу 1-й части.

Сагу о том, как это ему удалось, Виталий Катаев изложил в заметках «Умирают в России страхи», опубликованных в парижской «Русской мысли». Витя, бывший фронтовик-миномётчик, ставший после войны скрипачом и дирижёром, приехал в 1959 году из Москвы в Ленинград учиться в аспирантуре у замечательного дирижёра и педагога Николая Семёновича Рабиновича. Тогда и началась наша дружба с ним, а потом и с его женой Люсей Бергер. Через несколько лет, уже будучи главным дирижёром и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Белоруссии, он приехал в Ленинград, чтобы поделиться радостью со своим учителем, друзьями, коллегами: 13-я симфония Шостаковича дважды прозвучала в Минске в первоначальном варианте. И была восторженно принята публикой. Дмитрий Дмитриевич приехал на репетиции, присутствовал на концерте...

Глубоко прав французский историк и политолог Ален Безансон: разуму трудно спорить с абсурдом. Обаятельный, общительный и смешливый Витя Катаев,

неожиданно для многих, вступил с абсурдом в прямой и открытый спор. И одержал победу.

* *Наум Коржавин, «Памяти Герцена или Баллада об историческом недосыпе».*

Владимир Фрумкин — музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории. В 1974 эмигрировал в США, работал в Оберлин-колледже (штат Огайо) и Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт). С 1988 до 2006 года — сотрудник Русской службы "Голоса Америки" в Вашингтоне. Среди опубликованных работ - "От Гайдна до Шостаковича", два сборника песен Б.Окуджавы на русском и английском языках с нотной строчкой и буквенным обозначением аккордов, "Певцы и вожди" ("Деком", 2005).

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

В МИРЕ ЧЕТЫРЁХ НАТАШ

Однажды в супермаркете я обратил внимание на сухощавого пожилого человека с бледно-рыжими усиками. Лицо его показалось мне знакомым. В тот момент, когда я посмотрел на него, он посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. Человек с усиками радостно улыбнулся и кивнул. Я понял, что он меня знает, следовательно, я тоже должен его знать. Поэтому я сказал:

– How are you?

Человек с усиками приветливо ответил:

– Можете говорить по-русски.

Я не растерялся и сказал, сделав вид, что я действительно его знаю:

– Конечно, конечно, это я так, в шутку. Как дела?

– Ничего, спасибо, – сказал мой предполагаемый знакомый, охотно вступая в разговор. – Вот вчера дочка со своим младшим сыном уехала. Гостили у меня всю прошлую неделю.

– Замечательно! – сказал я, стараясь поддержать беседу. – Как её дела?

– Неплохо, совсем неплохо. – Мой собеседник оживился, глаза его заблестели. Так блестят глаза у человека, которому предоставляется возможность беспрепятственно говорить о своих детях или внуках. – Она недавно получила повышение. Она уже два года работает в компании, которая...

Рассказ о служебных делах дочери продолжался минут десять, потом плавно перешёл на её детей, на их успехи в школе, потом на мужа дочери, потом на его детей от первого брака, потом на остальных родственников. Семья у моего знакомого оказалась обширной и разветвлённой. Но я никуда не спешил. Я слушал, не перебивая, в

надежде, что в какой-то момент смогу понять, каким образом мы с ним знакомы. То, что мы знакомы, не вызывало сомнения, потому что он в ходе своего монолога несколько раз назвал меня по имени. Я старался придумать какой-нибудь безобидный вопрос, который натолкнул бы меня на след. Наконец, меня озарило. Я сказал безразличным тоном, как бы подчёркывая незначительность вопроса:

– Как там поживают наши общие знакомые?

Мой собеседник насторожился.

– У нас много общих знакомых, – сказал он, нахмурившись. – Кого вы имеете в виду?

Я понял, что попал впросак. Озарение оказалось непригодным.

– Ну, как кого? – сказал я. – Ну, эту... Как её...

– Наташу, что ли? – подозрительно спросил мой собеседник.

– Да, конечно, именно Наташу, – сказал я с облегчением. – Как она?

Мой разговорчивый собеседник помрачнел ещё больше.

– Я не знаю никакой Наташи, – сухо сказал он.

– Но вы же сами только что...

– Меня все спрашивают про какую-то Наташу, – перебил он меня. – Мне это начинает надоедать. В нашей зелёной деревне четыре Наташи, но я не знаком ни с одной из них.

Наконец-то! Упоминание о зелёной деревне всё разъяснило. Значит, усатый живёт там же, где и я, в деревне с жеманным названием “Зелёные холмы”. На самом деле, там нет никаких холмов, да и зелень довольно скудная. И вообще, это не деревня, а самая обычная организованная пригородная застройка, то, что по-английски называется development. Одинаковые, скромные на вид, но вполне комфортабельные внутри, дома выстраиваются в улицы, улочки и тупики, и всё это огорожено непреодолимым забором. Въехать в деревню

могут только её жители или их гости; это создаёт у жителей чувство безопасности и некоей избранности. Население деревни около полутора тысяч человек, из коих человек пятьдесят – иммигранты из России. Мой собеседник оказался одним из них. Может быть, даже моим соседом. Оставалось выяснить, как его зовут.

– Виктор, – сказал он, явно прочитав в моих глазах затаённый вопрос. – Меня зовут Виктор. На случай, если вы забыли. Сами знаете, в нашем возрасте память слабеет.

– Ну, что вы, что вы, – забормотал я с облегчением. – Конечно, Виктор, я знаю, как вас зовут. Витя, значит. Витюша. Ну, как дела, Витёк? Впрочем, это я, кажется, спрашивал.

– Нормально, спасибо. А как у вас?

Этот нехитрый вопрос заставил меня задержаться с ответом. Бдительность прежде всего, сказал я себе. Пятьдесят человек – не такая уж большая община, но достаточная для того, чтобы в ней плелись интриги, создавались фракции, выявлялись друзья и недруги и распространялись слухи. Любая информация про каждого русскоязычного жителя Зелёных холмов разлеталась со скоростью света и обрастала подробностями и комментариями. Любое неосторожное слово могло меня скомпрометировать или повергнуть в нежелательную фракцию. Поэтому я сказал, не вдаваясь в детали:

– И у меня нормально, спасибо.

– Как я понимаю, у вас тоже недавно гостили родственники – подсказал Виктор.

Я немного удивился, но виду не подал.

– Да, гостили, – сказал я. – Двоюродный брат Коля с женой, приезжали на неделю. Откуда вы знаете?

– Что значит – откуда? У нас в деревне всё известно. Как я понимаю, Коля вам на самом деле не двоюродный, а троюродный брат. Ваши отцы были двоюродными братьями, правильно?

– Точно. Вы и это знаете?

– Конечно. Все это знают. Как я понимаю, Колин отец, то есть ваш двоюродный дядя, был инженером, начальником строительного управления в Свердловске. Его в тридцать седьмом посадили и расстреляли. А вашему отцу, как я понимаю, повезло: умер от инфаркта.

– Так вы, значит, знакомы с Колей?

– Нет, с Колей я не знаком. Видел один раз издалека. Но вы же знаете: у нас в деревне все всё знают. Кстати, как у вас с мочеиспусканием?

– Да вроде ничего. Мочусь. Почему вы спрашиваете?

– Потому что у вас, как я понимаю, были проблемы с этим делом. Но уролог вам попался хороший, Шапиро. Я его знаю.

Меня поразила осведомлённость моего нового знакомого о моём состоянии здоровья. Но это было только начало. В течение следующих нескольких минут он довольно толково, не упуская деталей, пересказал всю мою историю болезней. Некоторые из этих деталей я уже не помнил, и мне было полезно возродить их в памяти. Я сказал:

– Извините, Витя, но это... мм... только вы или вся зелёная деревня так внимательно следит за моим мочеиспусканием?

– Ну что вы, – укоризненно сказал Виктор. – У нас никто ни за чем не следит. Те, кого интересуется, и так всё знают.

– Кого же это интересуется?

– Всех.

Мы помолчали. Я думал, как бы повежливей распрощаться со своим собеседником, чтобы его не обидеть, но, в то же время, не углубляться в дальнейшие подробности моих мочеполовых проблем. Но Витя, похоже, не хотел расставаться.

– Как я понимаю, – сказал он, – ваша жена уже вернулась из Миннесоты.

– Да, вернулась. Ездил на пару недель к внукам.

– На десять дней, – поправил Виктор.

Оглянувшись по сторонам и понизив голос, он добавил:

– Говорят, в её отсутствие к вам приходила какая-то блондинка. Но вы не беспокойтесь, я никому не скажу. Все и так знают.

– Ну, это уж чистая сплетня, – возмутился я. – Никто ко мне не приходил.

– В прошлый вторник, около девяти вечера, – сказал Виктор вполголоса. – Небольшого роста блондинка в светлых шортах.

– Это неправда! – Я почти кричал, от негодования срываясь на фальцет. – Самое настоящее враньё!

– Я тоже думаю, что враньё, – неожиданно согласился Виктор. – Зачем вам блондинка в вашем-то возрасте? Кстати, как у вас с этим... Ну, сами знаете, с чем... Функционирует?

– Не жалуюсь. Впрочем, это вас не касается.

– Ага! – обрадовался Витя. – Не жалуетесь! Значит, таки приходила блондинка!

– Нет! Нет! Не приходила! – взмолился я. – И вообще, к вашему сведению, я не люблю блондинок.

– Понятно, – сказал Витя. – Значит, она была крашеная.

К счастью, подошла моя очередь в кассу, я быстро расплатился и ушёл, не оглядываясь. На парковке, загружая продукты в машину, я услышал за спиной:

– Привет! Ты что, своих не узнаёшь?

Я оглянулся. Это была моя соседка, одна из четырёх Наташ. Я видел её сегодня утром, но обряд требовал соблюдения. Мы радостно заулыбались и расцеловались, демонстрируя друг другу восторг по поводу неожиданной встречи.

– Ну, ты даёшь! – сказал Наташа, на снижая накала радости. – Не успела жена уехать, как уже... эта... крашеная... в шортах...

– Наташа, это неправда! Кто тебе сказал?

– Никто не говорил. – Наташа пожала плечами. – Все и так знают. А ты, я видела, с этим идиотом Витькой разговаривал.

- Ты его знаешь?
- Не знаю и знать не хочу.
- Откуда же ты знаешь, что он идиот?
- Это все знают. Мир тесен.

Я распрощался с Наташей и поспешил сесть в машину, пока не встретил кого-нибудь ещё из нашего тесного мира.

Когда я вошёл в дом, жена разговаривала по телефону и заметила меня не сразу. Я поймал обрывок фразы:

– Конечно, знаю: небольшого роста блондинка в светлых шортах.

Я понял, что надо готовиться к обороне. Но, к моему удивлению, атаки не последовало. Жена повесила трубку и сказала бесстрастным тоном:

- Всё купил, что я просила?
- Всё, кроме стирального порошка.
- А почему так долго? С Витькой трепался, что ли?
- Кто такой Витька?
- Ну, этот, с рыжими усиками, которого ты встретил в супермаркете.

– Откуда ты знаешь, что я его встретил?

– Все уже знают, – сказала жена.

– Ты что, знакома с этим Витькой?

Жена посмотрела на меня ледяным взглядом.

– Я его не знаю, и знать не хочу, – сказала она. – А про свою дочку он врёт. Никакого повышения по службе она не получила. Это всем известно.

– Понятно. Про что ещё он врёт?

– Про то самое – сказала жена, не проявляя эмоций. – Про блондинку в светлых шортах. Никакая блондинка к тебе не приходила.

Тут я, конечно, я вздохнул с облегчением. Но, с другой стороны, стало немного обидно. Я уже почти поверил в свою супружескую неверность и даже почувствовал жгучий стыд, хотя и с некоторым оттенком гордости. И приготовился к взрыву ревности. И тут – на тебе:

совершенно унижительное неверие в мою мужскую порочность. Я говорю:

– Он, – говорю, – конечно, врёт. Но откуда ты знаешь, что врёт?

– Говорю, значит знаю.

– Ты что, знаешь, кто распустил этот слух про блондинку?

– Конечно, знаю. Я и распустила. Чтобы ты вёл себя прилично в моё отсутствие. Чтобы знал, что у нас тут ничего не скроешь.

– Ты с ума сошла! – закричал я. – В какое положение ты меня ставишь перед русскоязычным коллективом?

– В очень выгодное. Ты не представляешь, как ты вырос в глазах наших женщин. Нас уже три Наташи пригласили в гости на обед. Четвёртая ещё не вернулась из супермаркета.

В этот момент раздался звонок в дверь, и жена пошла открывать. Я услышал женский голос:

– Вот, возьми. Все говорят, что тебе нужен стиральный порошок.

– Спасибо, Наташенька.

– Не за что, – сказала Наташа. – Приходите завтра к пяти на обед. С мужем, конечно. Отпразднуем его успешное мочеиспускание.

Александр Матлин – известный писатель-сатирик. Постоянно печатается в нашем журнале, а также в сетевых журналах “Заметки по еврейской истории” и “Семь искусств”, в еженедельниках “Панорама” (Лос-Анджелес), “Еврейский мир” (Нью-Йорк), “Наша Канада” (Торонто). В 2010 году в московском издательстве “Вагриус” вышла его книга “На троих с ЦРУ” – полное собрание рассказов и стихов. В апреле 2014 в Нью-Йорке вышла еще одна книга его рассказов “2=1”.

Автор обложки

ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Гернадий (Герман) Моисеевич Гольд – известный живописец, рисовальщик, акварелист. Родился в 1933 в Курске, многие годы живет и работает в Киеве.

Имя его впервые прозвучало еще в конце 1960-х, когда на всесоюзной выставке в Москве появился портрет командира легендарного авиаполка “Нормандия-Неман” Жана Луи Тюляна. Молодой художник, за плечами которого была лишь служба в армии и неполный курс обучения в художественном училище, выставил работу, написанную на одном дыхании, обнаружившую мощную одаренность, страсть и изысканный вкус, работу, выпадавшую из всего, что было выставлено в портретном жанре того времени. Видимо, не напрасно директор Третьяковской Галереи надолго задержался у этой работы, и сделал предложение о приобретении. Не случайно и то, что главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорон в свое время предпочел Гольда остальным мастерам, когда встал вопрос о его портрете. И он не ошибся в своем выборе.

Несмотря на жестокие преследования, которым подвергались малейшие проявления еврейского самосознания в СССР, Герман Гольд с конца 1960-х годов начинает создавать еврейский цикл своих работ, пополняющийся вот уже более полувека. От испепеленных в годы Холокоста штетлов до теплого света ханукальных свечей, от портретов глав поколения – до танахических образов.

Творчество Г. Гольда, с ярко выраженными национальными мотивами, с характерным выразительно-динамичным письмом, стало органичной частью современного искусства Украины, обогащая его многокрасочную палитру своими живописными и духовными исканиями.

Работы Германа Гольда находятся в музеях и галереях России и Украины, Российской Академии Наук, Центральном Музее Вооруженных Сил России, Национальном Музее литературы Украины, в киевском Музее русского Искусства, музеях Франции, Греции, Израиля, США, а также в частных собраниях по всему миру – от Австралии до Японии. Художник принадлежит к немногим еврейским мастерам современности, вошедшим в легендарную Всемирную энциклопедию художников всех времен и народов – Allgemeines Künstler-Lexicon.

Фрагмент интервью, которое художник дал журналисту Максиму Лурье.

– Герман Моисеевич, еврейское искусство для вас это...

– Особое состояние души — в силу драматичности еврейской судьбы. Ее восприимчивость, чувствительность, ощущение груза прошлого — все это проявляется и в колорите, и в настроении, особенно в пейзажах. Левитан не был ортодоксальным евреем и писал только русскую природу, некоторые состояния которой бывают очень созвучны еврейскому камертону. В программе Познера жена Солженицына на вопрос, без чего вы не смогли бы жить, ответила просто: без книг Достоевского и пейзажей Левитана. Вот и думайте, «чей» он художник...

– Но вы же себя не сразу ощутили еврейским художником?

– Не сразу, но евреем ощущал себя всегда, и это ощущение естественным образом отразилось и в творчестве.

– Складывается впечатление, что портрет – ваш любимый жанр...

– Это действительно так, поскольку портрет – это всегда диалог (не обязательно даже вербальный) с моделью – человеком, который становится твоим соавтором. Мне посчастливилось иметь в «соавторах» легендарных людей, таких как Иван Кожедуб, маршал Жуков и многих других.

А какими колоритными моделями были, например, профессор Фрумкин – главный уролог советской армии в годы войны – темпераментный рыжий еврей, с появлением которого наступали всеобщее возбуждение и подъем, или знаменитый кардиолог Мясников с золотым фонендоскопом на шее и свитой поклонниц в белых халатах.

Истинное удовольствие я получил от общения с нашими соотечественниками – Героем Украины Иваном Дзюбой – человеком редкой теплоты, которого недаром называют совестью нации; выдающимся кардиохирургом, учеником Амосова, академиком Геннадием Кнышовым; многолетним ректором Киевского Политехнического Михаилом Згуровским... Мне особенно дорог двойной портрет дедушки и бабушки главного нейрохирурга Украины, академика Евгения Педаченко, эти простые люди – Афанасий Иванович и София Ефимовна – удостоены высокого звания Праведников народов мира.

– В одной из американских газет вы названы большим художником. Признание для вас многое значит?

– Очевидно лишь то, что я старый художник (улыбается). Не люблю громких эпитетов и славословий. Что касается признания, то я могу, как говорится, работать «в стол», причем с удовольствием, хотя далеко не всегда в жизни мог себе это позволить. Но чего греха таить, востребованность – приятное ощущение и хороший стимул к работе.

**На обложке журнала – картина Г.Гольда
“С правнуком”**

